



Владимир Орлов

Камергерский переулок

ФТМ



Останкинские истории

Владимир Орлов

Камергерский переулок

«ФТМ»

2008

Орлов В. В.

Камергерский переулок / В. В. Орлов — «ФТМ»,
2008 — (Останкинские истории)

Это новый, долгожданный роман классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, сочетающий детективное начало и тонкий психологизм. Захватывающий сюжет, узнаваемые персонажи, сатира на окружающую действительность, – все это ставит «Камергерский переулок» в ряд лучших произведений мировой литературы.

© Орлов В. В., 2008

© ФТМ, 2008

Содержание

1	5
2	11
3	13
4	21
5	28
6	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Владимир Орлов

Камергерский переулоч

1

Прокопьев любил солянку. Случалось, заходил в проезд Художественного театра, а с возвращением имени – в Камергерский переулоч, и там, в закускойной, заказывал солянку. Коли усаживался за столик у двери, мог – правда, с наклоном головы, – наблюдать хорошо известную ему памятную доску. Созерцал он ее и на подходе к закускойной. Золоченые буквы на куске искусственного, надо полагать, гранита сообщали о том, что в здешнем здании проживал и работал Сергей Сергеевич Прокофьев. За столиком Прокопьев вступал в рассуждения. Иная буква в фамилии – и вот тебе разница! Сергея Сергеевича Прокофьева знали все, а его, Прокопьева, – с десяток человек. Но мысли об этом приходили, лишь когда была откушана водка (или кружка пива) и горячей вошла в Прокопьева солянка. После рассуждений о буквах «п» и «ф» можно было подумать и о второй порции солянки.

Человек любознательный, Прокопьев, естественно, заглядывал в книги с полезными советами. В микояновскую кулинарную мифологию, в частности. С намерением выяснить, какие же такие ели в столице солянки. Описание рыбной солянки в «Рецептах русской кухни» позабавило Прокопьева нереальностью воплощения. Солянку, должную иметь светлый, слегка красноватый бульон, рекомендовано было готовить из двухсот граммов свежей семги, из двухсот граммов свежего судака, двухсот граммов свежего осетра, маринованных белых грибов, стакана огуречного рассола, всяческих пряностей и добавок (следовало двенадцать пунктов составных). «Оно, конечно, неплохо бы... – возмечтал Прокопьев. Но тут же и рассудил: – Посчитаем, что я человек не рыбный...» В доме одной из своих приятельниц Прокопьев выписал рецепт иной солянки: «Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, налив немного бульона. Огурцы очистить от кожицы и нарезать ломтиками. Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть разные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса, курица и т. д. Их следует нарезать мелкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5–10 минут. Перед подачей на стол в солянку положить сметану, ломтик лимона, очищенный от кожицы, мелко порезанную зелень петрушки или укропа...»

И мясную солянку Прокопьев сотворить не взялся бы. Приятельницы же его к особым кулинарным подвигам не были способны. Заказ блюда, к какому Прокопьев был расположен, в ресторане обошелся бы ему рублей в триста, совершенно его бюджетом не предусмотренных. И потому Прокопьев брал солянку в Камергерском переулочке, в закускойной, там за нее приходилось платить двадцать три рубля (год назад и вовсе – пятнадцать). Понятно, что в камергерской солянке составных было куда меньше, нежели в солянках книжных, никакие почки, языки, ветчины, куры, телятины в ней не присутствовали (хорошо хоть кусочки мяса плавали здесь вместе с кусочками сосисок), и уж, естественно, каперсы в ней не водились, но те солянки были умозрительно-буквенные, а наша, камергерская, прибывала на стол горячая и живая. Сам вид ее и запахи в Прокопьеве, особенно голодном, разрушали всяческие бормотания по поводу иллюзорности или же бессмыслия бытия.

Прежде, пожалуй, ничто не могло здесь отвлекать Прокопьева от удовольствий. Но вот появились мобилы. Или мобилы. Поначалу они вели себя смиренно, а если их сотовые взвяхивали, они выходили для разговоров на мостовую, пусть и под дождь. Но потом их порода чрезвычайно расплодилось, и самые плюгавые девицы, на вид – из-за черты бедности, чуть что вытаскивали из сумочек или карманов плоские устройства и принимались при людях давать

кому-то распоряжения. Можно было подумать, что публика у нас состоит теперь исключительно из распорядителей. При этом Прокопьева раздражали звуки голосов, чаще всего повелительно-противных (а акустика в закуской была замечательная), и, конечно, бесцеремонное пренебрежение к присутствию вблизи иных людей. Но недолгие наблюдения вызвали у Прокопьева мысли о том, что этих громкоговорящих следует и пожалеть. Как правило, это были люди молодые – лет эдак двадцати пяти, ну, под тридцать. Скорее всего – секретарши, мелкие клерки из ближайших контор, менялы из пунктов валютных метаморфоз, продавцы (то бишь приказчики, но не они приказывали) из здешних дорогих магазинов, охранники, особо ничего не охранявшие, но должны пребывать в штате ради престижа фирмы. Один из знакомых Прокопьева назвал их «яппи», мол, появилась такая прослойка. Ничего они пока не достигли, но средств на прокорм добывали побольше всяких там профессоров. А должен заметить, что посиживали в закуской персонажи значительные, или даже знаменитые, или крутые – конкретные. Да и легенды о приключениях в Камергерском людей прославленных (корифеев МХАТа, например) или о том, что здесь поили и кормили в кредит студента Высоцкого, не могли не вызывать внутри закуской особенных направлений мыслей. А эти вот, по разумению знакомого Прокопьева, «яппи» жили все же с комплексами маленьких людей, и их громкоговорения при публике вынуждались естественным желанием самоутвердиться и заявить миру, что они не хуже других. Вообще иные посетители закуской нередко привирали, приписывая себе чужие судьбы и заслуги. Энергетика, что ли, здешних стен тому способствовала. Какой-нибудь торговец обложками документов из подземного перехода, прибывший за капиталом с ридной Полтавщины, мог объявить себя академиком-ядерщиком из Дубны. А молодцы-привратники в штатском, стоявшие у дверей Думы (она-то – рядом, любимица народная), здесь важничали, проявляя себя чуть ли не генералами и героями отечественной истории.

«Ну и не я им судья, – размышлял Прокопьев, – лишь бы не орали в свои говорильни, лишь бы вели беседы шепотом...»

Однажды пожелание Прокопьева осуществилось. За столик его подседа девушка, принесла бутерброд с беконом и стакан сока. Прокопьев читал «Спорт-экспресс», девушка интереса у него не вызвала. Взгляд на нее, конечно, был брошен. Невзрачная, волосы плохие. То есть не то чтобы сами по себе плохие, а в плохом порядке. Нынче одной из примет неблагополучия были именно неухоженные волосы. Прокопьев продолжал чтение газеты, а тут знакомо затренькало. Девушка с плохими волосами (и цвет-то их был какой-то невнятно серый) вытащила из сумочки телефон и прошептала: «Да, я, Нина, слушаю...» Услышанное (минуты четыре без ее реплик), видимо, удивило и расстроило девушку. Прислонившись к стене, она принялась что-то шептать в плоскость с кнопками, похоже – оправдываясь. Собеседник ее разговор прекратил, девушка убрала телефон в сумочку, сидела минуты две, ни на кого не глядя, а потом расплакалась.

– Нина, может быть, я чем-либо смогу помочь вам? – сказал Прокопьев.

Девушка резко взглянула на него.

– Откуда вы знаете мое имя?

– Вы сами назвали его, – сказал Прокопьев. – Вы – Нина, а я Прокопьев Сергей... Не Прокопьев, как на доске, а Прокопьев.

Он был намерен произнести какие-либо любезности и призвать Нину не расстраиваться, мол, у всех сейчас поводы для расстройств, в частности и у него, хотя бы и из-за того, что в его фамилии подменена буква «ф», и ничего, живет, то есть свести разговор к шутке и заставить девушку заулыбаться. Но она вовсе не заулыбалась, а глядела на Прокопьева в раздражении, помолчав же, заявила:

– Ну и помалкивайте себе, Прокопьев Сергей! И уж кому кому, но не вам лезть в мои дела!

Она поднялась, почти вскочила и быстро двинулась к двери. Линии ее тела нельзя было признать безоговорочно дурными, но Прокопьев тотчас забыл о них, он повторял про себя: «Срезала она меня, срезала...» В этом ее «не вам!», окруженном рвами пауз и произнесенном чуть ли не при сжатых в презрении губах, вывучилась оценка его, Прокопьева, как неспособного помочь кому-то и уж тем более участвовать в каких-то, скорее всего, опасных делах.

– Полно, Прокопьев! Не забивайте голову чепухой! – сказал сидевший справа от Прокопьева странный субъект по имени Фридрих, по одному из прозвищ – Конфитюр. – Лучше послушайте. Приобретать виллу сегодня выгоднее на Балеарских островах, а не на Мальте и не на Кипре.

– Какие еще Балеарские острова! – воскликнул Прокопьев. – Какие виллы!

У Прокопьева с Фридрихом Малоротовым, книжным челноком, случились два-три пересечения в закускойной. Фридрих, мужчина лет тридцати пяти, нос – клювом какаду, жесткие волосы дыбом, вечная сумка на колесах у ног, иногда и пустой рюкзак (сбыл товар), чрезвычайно интересовался ценами на замки, виллы и коттеджи. Главным образом, на берегах Средиземного моря. Отчего и получил новое прозвище – Средиземноморский. В закускойной Фридрих выкладывал на столик номера глянцево – манящего журнала «Твоя крепость» и принимался меленькими цифрами производить хотя бы и на обрывках газет упоительные расчеты. Прокопьеву стало известно, что Фридрих был убежден: рано или поздно его предпринимательские удачи позволят ему приобрести ласточкино гнездо на лазурных берегах. Тем более, что своего жилья он не имел, обитал у жены в Щербинке, вблизи враждующего с ним воинства – тещи и шурина, Этот шурина пробирался ночью к холодильнику и пожирал любезный натуре Фридриха клубничным конфитюром. Из тактических соображений Фридрих был вынужден банки с конфитюром до Щербинки не доносить, а вбирать в себя лакомство в Камергерском переулке. Журнал «Твоя крепость» призывал отечественное среднелазурье возместить потерю Аляски освоением лениво-журчащего подбрюшья Европы, всяческих Калифорний и Флорид, а с ними – и островов Карибского бассейна. (На вопрос, отчего он не помышляет о загородной резиденции на Барбадосе или Антилах, Фридрих якобы отвечал, что это слишком далеко от Щербинки, дороги и прогонные обойдутся в копеечку). Журнал сообщал Фридриху самые точные и самые свежие сведения о стоимости того-то и того-то (земли, зданий, строительных работ), о кредитах, рассрочках, о скидках и льготах, ну и о прочем. Фридрих расчеты производил сравнительные, и выяснялось, что дом на Корсике – и именно не рядом с Аяччо или Бастией, а в местечке Алерия – обойдется ему дешевле дома тех же свойств вблизи Ниццы либо на острове Родос. «Двадцать долларов, двадцать долларов... – бормотал Фридрих и нервически смеялся. – А если учесть двадцать лет рассрочки...» Но и успокоиться не мог. Томило, будоражило его предчувствие. Что где-то среди географических названий и цифирок, коли он продолжит поиск, обнаружится, не может не обнаружиться, уж совсем выгодное для него предложение. И вот, вот оно! Конечно, конечно же – местечко Анавидис на западном боку острова Корфу! Там выгоды выходили и не в двадцать долларов – во все тридцать два! А если принять во внимание рассрочку на двадцать лет! А если принять во внимание!.. Фридрих Средиземноморский чечетку готов был отлущивать на брусчатке Камергерского! Но прежде стоило заказать сто граммов коньяка в честь выгодной сделки. И выделить часть разницы от только что проведенной коммерции на разгул. И позволить себе снять к ночи девочку с белыми ногами на Тверской под аркой Брюсова переулка...

Так, говорили, продолжалось лет пять.

Нынче же исследования Фридриха привели его на Балеарские острова. Восклицания Прокопьева («Какие еще Балеарские острова! Какие еще виллы!») его не только удивили, но и обидели.

– Но это же и морской свинке должно быть понятно, – угрюмо произнес Фридрих, – что владения вам лучше приобретать на Балеарских островах!

– Да нигде я не собираюсь приобретать какие-либо владения! – снова воскликнул Прокопьев. – И что же вы сами-то не отправитесь на Балеарские острова?

– Мной еще не сделан выбор! – ответил Фридрих, но в нем тотчас же возникли несомненные подозрения, он взглянул на Прокопьева враждебно-угрожающе.

– Успокойтесь, Фридрих, – сказал Прокопьев. – Мои интересы чрезвычайно далеки от ваших интересов.

И действительно, он думал теперь о девушке с неважной прической, резкими словами оценившей его, Прокопьева, суть. «В чем драма ее жизни? Отчего она расплакалась?» – размышлял Прокопьев.

Но при этих его мыслях в закусную по-хозяйски вошел мужичок лет сорока, в майке, спортивных штанах и шлепанцах на босу ногу. Он прошагал к кассирше Люде (на боку ее кабинки, кстати, был укреплен трафарет: «Касса работает в настоящем режиме цен») и объявил, отчасти радостно:

– Опять прилетали! Через форточку и прямо к ней!

– Ой, Васек, ой! – воскликнула кассирша. – И сколько же их было?

– Трое. Как и в прошлые разы. И сразу к ней, к стерве!

С кружкой пива и ста граммами «Завалинки» Васек направился к столику Прокопьева.

– Можно к вам?

– Садись, Васек, садись, – Фридрих снова принялся выводить цифирки, теперь уже прямо на глянценостях журнала.

– Я вас, пожалуй, видел, – сказал Васек.

– Наверное, – кивнул Прокопьев. – Я сюда захожу иногда...

– А я из здешнего двора. Вон там, за ихней кухней, – и он протянул Прокопьеву руку. – Василий Фонарев. Частный извозчик. Водила-бомбила. Сейчас вот мотор распоганился. Я с ним вожусь. Сiju дома с бабьем. Сам-то я из Касимова. Вы в Касимове, небось, бывали.

– Нет, – сказал Прокопьев. – Не бывал.

– Ну, как же! Вы в Касимове не бывали? – удивился Васек. – Я вам из Касимова воду привезу. Трехлитровую банку. В Касимове вода замечательная. От нее все пройдет. Вас как звать-то? Привезу, Сергей, обязательно. И Фридриху я обещал. Ну и что, что не привез? Привезу. И не потому, что вода замечательная, а из уважения. И тебе, Серега, привезу.

– Ты, Васек, опять в запое, что ли? – поинтересовалась кассирша Люда.

– Ни в коем разе, Людмила Васильевна, – отвечивал Васек. – Но хоть бы и в запое. Но не в запое. А так выпил малость из-за недоумений. Ведь они совсем обнаглели, гуманоиды-то эти! Башки бы им поотрывать! Но у них их нет.

– На кого же они, Васек, похожи?

– На велосипедные шины. Раздутые. С большими ниппелями. Вот с такими. Правда, когда в форточку влетают, слипаются в колбасу. Но ниппеля у них еще больше становятся. И мимо меня прямо к ней, к полковнику!

– Какой у тебя еще полковник? – оторвался от расчетов Фридрих.

– Ну, жена моя! – поморщился Васек. – А кто же она, как не полковник? И ведь ждет их, стерва! Сразу троих. Я поднимаю голову, а они уже отряхиваются. Как тут не прийти в недоумение и не выпить?

– Ой, Васек, ой! – восхитилась кассирша. – Какая жизнь у тебя интересная! И сейчас они у тебя?

– Нет, улетели. А полковник послала меня за бутылкой. Чтобы энергии в ней восстановились. Побегу в «Красные двери». Ты, Серега, не расстраивайся. Я тебе воду из Касимова привезу. Раз пообещал. Банку трехлитровую. Может и ведро.

И Васек, не теряя шлепанцев, поспешил в бывшую булочную, ныне – не знающий покоя и ночами магазин, прозванный в народе «Красными дверями».

А Фридрих достал из кармана куртки калькулятор и, видимо, стал перепроверять результаты изысканий.

– Что же ты раньше жалел эту свою машину? – поинтересовалась кассирша Люда.

– А возьмет и сядет у заразы накопитель энергии, – разъяснил Фридрих. – А потом, как только дело доходит до восточного побережья Сардинии, цифры в нем начинают дергаться.

«Где же сейчас печальная девушка Нина? – опять обеспокоился Прокопьев. – Не издеваются ли над ней сейчас какие-либо изверги? Жива ли она?»

Не произнеся этикетно-общепитовских слов, на свободные у столика стулья слева от Прокопьева и Фридриха Малоротова опустились двое мужчин средних лет с как будто бы знакомыми Прокопьеву лицами. Один был вроде бы актер. Лицо другого, сообразил Прокопьев, не раз дергалось перед ним на экране телевизора. Он всегда о ком-то вспоминал. Да, да, именно вспоминал. Юбилеи, похороны – и он непременно возникал на экране, и выходило так, что он был первейшим другом юбиляра или только что почившего. Высоцкий, Даль, Тарковский, Галич и вовсе удаленные от нас годами мастера – Пришвин, Пастернак и даже Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот о ком он говорил. А на вид первейшему другу и воспоминателю более сорока пяти лет дать было никак нельзя.

– Да врешь ты, Шура! – громко произнес, по мнению Прокопьева – актер, отвлекаясь от горшочка с жарким. – Врешь! Не мог ты этого видеть!

– Не конфузь ты меня, братец Коленька, перед людьми, – милейше улыбнулся братцу Коленьке воспоминатель Шура («Мельников! – сейчас же явилось Прокопьеву. – Александр Мельников!»), – а то ведь черт-те что могут обо мне подумать... Сейчас же перепроверим мои слова у людей незаинтересованных... Вы, молодой человек, кто по профессии?

– Я? – растерялся Прокопьев.

– Да. Вы.

– Какой же я молодой человек?

– Неважно, – капризно махнул рукой Мельников. – Вы, похоже, имеете отношение к искусству...

– Да что вы! – чуть ли не испугался Прокопьев. – Я – ремесленник.

– И каково ваше ремесло?

– Я...я... – Прокопьев совершенно смутился. – Я мастер по перетягиванию пружин...

– Каких пружин? – удивился Мельников.

– Самых обычных! – Прокопьеву захотелось сейчас же разъяснить Мельникову свой случай, чтобы не затруднять головоломкой человека, и так содержавшего в сусеках памяти множество воспоминаний и мыслей. – В матрасах. В диванах. В креслах. И вам, небось, приходилось испытывать неудобства от покареженных пружин в лежанках.

Вероятный актер Коля расхохотался, а первейший друг знаменитых и великих нахмурился.

– Откуда вам ведомо о моих неудобствах? – спросил Мельников чуть ли не с вызовом.

– Я догадываюсь, – скромно сказал Прокопьев.

А актер Коля хохотал и повторял: «В самое яблочко! В самую десятку!»

– Прекрати, Николай! На нас и так все смотрят! – сердито заявил Мельников. – Ты радуешься тому, что пружинных дел мастер не знает, по всей видимости, биографию Василия Ивановича Качалова и не сможет оценить мою историю.

– Но вдруг он знаменитый пружинный мастер! Вдруг он перетягивает золотые пружины!

– Да что вы! – воскликнул Прокопьев. – Какие золотые! Вы можете мне не поверить, но иногда я добываю материал для починки диванов и кресел на помойках и в мусорных баках.

– Ваше счастье, что на помойках! – обрадовался Николай. – А то ведь он, якобы наблюдавший ребенком прогулку Качалова, Есенина и собаки, тотчас же бы принялся ожидать вашей кончины и на поминках выступил бы с воспоминаниями.

– Ты невыносимый пошляк, Николай! – трагически произнес Мельников, вскочил, пальцы его стали терзать черную бабочку под кадыком, будто его душил гнев, а бабочка сдавливала дыхательные пути. Но тут, видимо, вспомнив о чем-то, присел. – Так, так, так. Это замечательно, что вы сегодня обнаружили. Это знак судьбы. А мне ведь надо починить пружины в диване и двух креслах. В них память о таких людях! Вы не откажетесь от услуги? У вас есть телефон? Продиктуйте, пожалуйста, его номер, с вашего позволения через два дня я вам позвоню.

Приятель обменялся еще несколькими колкостями и покинул закусочную, призвав пружинных дел мастера не забывать о несовершенствах домашнего быта маэстро Александра Мельникова. При этом Николай опять принялся подхихатывать.

«Он, этот Мельников-то, – вспоминал Прокопьев, – вроде бы и режиссер, и критик, и передачи на „Культуре“ временами ведет с министром на равных. Возвышенный человек! А тоже мается из-за ослабших пружин. Где-то я видел недавно Николая? В каком-то фильме... Криминальном, что ли...»

– Остается еще пройти западное побережье Крита, – вздохнул Фридрих. – Но там обычно цены заламывают безобразные.

И сейчас же, но явно не в связи со вздохами Фридриха, а само по себе, произошло некое движение над столиками закусочной и над утихшими в миг посетителями. Случилось будто бы исчезновение света, но потом пошли мерцания, вспышки разноцветные, образовались перемены и покачивания множества тонких желтоватых гирлянд, вызвавших у Прокопьева мысли о телеграфных лентах из фильмов о Гражданской войне, и стрекот телеграфистов вроде бы зазвучал, и звонки раздались – тоже вроде бы от старинных аппаратов.

Впрочем, все это продолжалось минуту, и снова ровным стал свет плафонов-ландышей, по девяти на двух стенах, и возобновилось прохождение народа по яркому от юбилейных фонарей (под Шехтеля) Камергерскому переулку перед окном закусочной, тоже, казалось, на минуту прекратившееся.

А вблизи столика Прокопьева объявился толстяк с черными усами, имевший в руке рюмку с коньяком.

– Присесть позволите?

– Конечно...

– Благодарствую. Разрешите представиться. Арсений...Линикк. Два «к» на конце... Линикк Арсений... Гном. С телеграфа. Да, отсюда, с Центрального...

Линикк, пусть и невеликий ростом, на гнома никак не походил, был широк в плечах, голову имел большую, да и носили ли гномы этикие гусарские усы?

– Какой же вы гном! – рассмеялся Прокопьев. – Вы, скорее, ясновельможный пан!

– Однако Гном, – печально произнес Линикк.

«Ну что же, – подумал Прокопьев, – видимо, у него есть поводы для подобных шуток».

– Выпьем за тех, кто нынче в беде, – предложил Линикк.

Остатком жидкости в стакане Прокопьев поддержал служителя Центрального телеграфа.

Отчего-то ему захотелось закрыть глаза. И тотчас же при склеенных веках перед ним поползла лента телеграммы: «...большой опасности тчк сор не вынесен зпт бутылъ запечатана тчк умоляю...»

Прокопьев в испуге открыл глаза, не пожелав узнать, от кого и о чем исходила мольба.

Час назад на месте Арсения Линикка перед Прокопьевым сидела девушка с огорчившими его волосами. Не она ли теперь посылала кому-то телеграмму?

Но ее адресатом Прокопьев, уж точно, стать сейчас не желал.

2

К тому времени я был знаком с Прокопьевым.

В разговоре со всеведающим Мельниковым Прокопьев отчасти лукавил. Сам не зная зачем, принизил степень своих навыков и умений. Как же, возразит внимательный читатель, он ведь назвал себя мастером. Мастером-то мастером, но мастером каких-то перетягиваний пружин. На самом же деле он числился краснодеревщиком и служил в уважаемой мастерской на Сретенке реставратором мебели. Краснодеревщик обязан быть и столяром, и слесарем, и плотником, и умельцем во множестве иных искусств, инкрустатором, например, клейщиком, собирателем антикварных щепок, изобретателем и пр. Сергей Максимович Прокопьев имел диплом инженера, трудился на военном заводе, но при известных трясках на исторических ухабах был выброшен в реалии жизни сокращенно-упраздненных. Попытки преуспеть в предпринимательстве привели его не только к краху, но чуть и не к гибели. У большинства сограждан Сергея Максимовича денежных знаков на приобретение обновок тогда не было, перешивали ношеное, чинили предназначенное на выброс и в утиль. Знакомец Прокопьева, еще со школьных лет, Митя Шухов добывал прокорм домочадцам именно возобновлением жизни семейных лежанок и Прокопьева уговорил научиться его ремеслу. Шухов, виртуозом, с помощью капроновых нитей, изоляционных лент, обрезков скотчей и лесок заставлял увечные пружины подниматься, либо, напротив, ужиматься до установленных необходимостью размеров. Он был и хирург, и архитектор, и вязальщик одновременно. В присутствии Прокопьева он мог молча просидеть в раздумьях над судьбой пружин, болезных и голых, час или два, просчитывая какие-то диагонали, углы, линии, центры тяжести, силу упора, а потом произнеся: «Со страхом и надеждой!», принимался руками ловкача-иллюзиониста устраивать невероятные подтяжки или, коли надо, растяжки, прижимы, чуть ли не контрфорсы, наконец, и справедливое натяжение пружин восстанавливалось. А потом диван или матрас или кресло приобретали и покров, либо старый, но залатанный, либо выкроенный и пошитый, скажем, из отвисевших уже штор. Иногда в дело шли и ковры.

Поначалу к занятиям приятеля Прокопьев относился с высокомерием, но вскоре неизбежность хоть как-либо зарабатывать (не сбором же бутылок) вынудила его смириться с матрасами и диванами. «И Шухов-то из кандидатов наук к пружинам прибрел, – при этом подбадривал себя Прокопьев. – А вроде бы и к докторской подбирался...» С тех пор прошло шесть с лишним лет, и Прокопьев в своей новой профессии преуспел. Он мог теперь склеивать ножки венских стульев из щепок, обучился даже гобеленному искусству и пастушескими картинами (как и иными материалами), обтягивал кушетки и оттоманки, чинил сложнейшие замки в екатерининских конторках и бюро. Много, многое что умел делать. Или даже сотворять. В мастерскую реставраторов его приняли по конкурсу. И был Прокопьев чрезвычайно доволен тем, что пять его стульев стояли теперь в Кремлевском дворце архитектора Тона (расходы Бородина его не заботили). Но упоминать об этом в разговорах – хотя бы и по делу – не любил. Смутился, что ли... И мастером он аттестовал себя вовсе без возведения слова «мастер» в некий титул и не приравнивая себя к Маэстро. Это было естественное обозначение его рабочего состояния. Столяр, слесарь, краснодеревщик, мастер. Сколько было вокруг него подобных, никому неведомых умельцев. Смущение же его происходило оттого, что он все еще считал свое нынешнее занятие вынужденным. А жизненное предназначение его было как будто бы иное.

Но когда же откроется ему это его предназначение? И откроется ли? Ведь ему уже отпущено тридцать шесть лет жизни.

Познакомился я с Прокопьевым при обыденных мужских обстоятельствах в дружелюбно-приёмной «Яме» на углу Столешникова и Дмитровки (тогда – Пушкинской), то бишь в

пивном заведении «Ладья». Дельцу Крапивенскому, сдавшему в аренду испанским негоциантам последний оплот дружеских общений, доступный карману простого москвича, были адресованы народные проклятья и пророчества. Говорилось, в частности: «Дело его провалится!» И пророчество свершилось. Знаменитый московский провал на Дмитровке случился именно у стен Ямы! Теперь там нет ни каталонских супов из бычьих хвостов и ушей, ни очаковского пива. Дома напротив, рухнувшие в памятную ночь, выстроены заново, а здание Ямы стоит в трещинах, и конца его ремонтам не предвидится. Жизнекипящий же прежде Столешников переулок стал мертвым... Впрочем, что берeditь душу воспоминаниями и досадами на алчность дельцов... Упомянул же я о Яме (может, в дальнейшем придет на память и еще что-либо о ней и ее персонажах) в связи с Прокопьевым. Подробностей нашего с ним знакомства я не помню. Скорее всего, оно вышло банальным. Стояли рядом, пили пиво, разговаривали о чем-то, может, о шахматах, может, о выборах и кандидате Брынцалове, ну и называли друг друга свои имена (тогда уже было мне разъяснено: «Не Прокофьев, а Прокопьев»). Потом сироты Ямы встречались иногда в теснотах рюмочной в Копьевском переулке, но и рюмочную история отменила, отдав ее пространство – тут уж и досадовать причин не было – возведению филиала Большого театра. Остались для беседований местным жителям и работникам с низкоумеренным достатком «Олады» на Дмитровке да закусовая в Камергерском. Но и при существовании этих приютов приходилось жить в упованиях («Авось не закроют!») и тревогах: и после кратких удалений из Москвы случалось гадать, а не перекуплены ли «Олады» и «Закуска», не превратились ли они в заведения со швейцарами в крылатках и цилиндрах, держатся ли бастионы? И нелишними оказались эти тревоги...

В день знакомства Прокопьева с Васьком Фонаревым, Мельниковым и Арсением Лиником я в Камергерском не был. (А появлялся я там чаще Прокопьева, живу рядом, через Тверскую, в Газетном переулке). Арсений Линик, с усами своими достойный быть героем Сенкевича, Генриха, естественно, но объявивший себя отчего-то Гномом Телеграфа, был мне известен. И не только мне. К удивлению Прокопьева кассирша Людмила Васильевна сейчас же назвала толстяка Сенечкой и поинтересовалась, отчего нет с ним рядом Стаса Милашевского. Прокопьев же все никак не мог освободиться от видений предпотолочных танцев, трепыханий телеграфных лент и от навязанного ему текста умоляющей телеграммы. Он смотрел на Линика с удивлением и даже с подозрением. Линик будто бы спустился к его столику из тех танцующих телеграфных лент. Впрочем, скоро Прокопьев уговорил себя не держать в голове очевидную глупость...

Александр Михайлович Мельников позвонил Прокопьеву через неделю. По его словам, участия пружинных дел мастера требовали два кресла и диван. Мемориальные. Обтянуты они были кожей. Накануне Прокопьев видел Мельникова в телевизионных поминаниях Александра Галича, и выходило, что Мельников научил Галича играть на гитаре, во всяком случае, первая гитара поэта была подарком именно Мельникова. «А не преподнес ли Мельников и рояль Сергею Сергеевичу Прокофьеву?» – пришло в голову Прокопьеву. Прокопьев давно хотел посетить музей-квартиру композитора, но все никак не мог этого сделать. Возможно, намерению препятствовали камергерские солянки.

Совсем ненужная ему озабоченность или даже тревога не покидала теперь Прокопьева. И Прокопьев не мог не признаться себе, что вызвана она привидевшейся ему телеграфной лентой и испугом (со слезами) неприметной девицы (Нины, вроде бы), получившей сотовое и, возможно, зловещее для нее сообщение.

Странно это было, странно...

3

На крашеной в желтое скамейке Тверского бульвара сидел молодой человек. Впрочем, можно было лишь предположить, что человек этот молод. Темно-серая кепка была сдвинута им вниз, козырек ее доходил чуть ли не до кончика носа. Закрыты у него глаза или открыты, определить было нельзя. Да и у кого имелась надобность определять? Он то ли дремал, то ли обдумывал что-то в сосредоточенности мыслей. Отсутствие соседей позволяло ему и дремать, и размышлять.

Скамейка человека в кепке, по мнению студентов Литературного института, стоявшего рядом, размещалась внутри мистического треугольника ПЕМ. Знатоки московских пространств могут объяснить человеку несведущему, что ПЕМ – это три памятника – Пушкину, Есенину и Маяковскому. Трем убиенным поэтам. Происходившее внутри мистического треугольника часто оказывалось печальным. Сидевший на желтой скамейке, видимо, посчитал это соображение несущественным.

День был прохладный, но сухой и безветренный. Шуршали под ногами прохожих не подавшиеся усердиям коммунальных служб листья, желтые, оранжевые, красные, а то и зеленые. Прогуливались по бульвару балбесы, не пожелавшие сидеть в сухой день в аудиториях и классах. Шестеро из них с банками пива и энергетических напитков в руках направились к скамейке человека в кепке явно с намерением согнать сидельщика с места. Они, особенно, девицы с полосками голого тела над джинсами, и объявляли об этом вслух. Но движение их было прервано чернявым мужиком лет сорока в камуфляже и кирзовых сапогах.

– Пошли отсюда вон! – заявил мужик. – Небось, сосунки, сейчас оседлаете спинку, и грязь с обуви будете соскребать о сиденье. Ищите кайф в другом месте!

Парни, студиози или школяры, были на вид здоровяки, откормленные «растишками» и удобрительными добавками, рванулись к мужику, естественно, их должно было разозлить словечко «сосунки», но тут же и остановились. Их остановил взгляд мужика. Мужик стоял, ноги расставив, руки держа в карманах куртки, «шкафом» из-за малого роста назвать его было нельзя, но в «комоды» он вполне годился. А главное, взгляд его был совершенно злодейский.

– Да это псих какой-то! – объявил один из парней. – Пошли отсюда.

А мужик тем временем направился к убереженной им от грязи скамейке. И не просто к скамейке, а к человеку в кепке. Не спросил, как полагалось бы сообразно московскому этикету: «Рядом с вами свободно?», а уселся вплотную к будто бы придремавшему. И не уселся даже, а как бы по неловкости плюхнулся на скамью, толкнув человека в кепке в бок.

Тот не пошевелился.

– Оценщик, ты чего, спишь, что ли, или притворяешься? – спросил мужик.

И теперь человек, названный Оценщиком, не пошевелился.

– Оценщик, ты дурака, что ли, валяешь? Или помер?

И мужик грубо стянул с головы Оценщика кепку.

Глаза Оценщика были открыты.

Теперь можно было понять, что он вовсе не юнец, хотя и выглядел моложавым.

Оценщик выхватил из рук мужика кепку и снова утвердил ее у себя на голове, прикрыв теперь и кончик носа.

– Не хочешь со мной разговаривать? – резко сказал мужик. – Ты что, не узнаешь меня?

– Я узнаю тебя, Сальвадор, – сказал Оценщик. – Для кого-то ты Сальвадор, а для кого-то – Сало... А разговаривать нам с тобой не о чем.

– Не называй меня Салом! – вскричал мужик и сжал запястье Оценщика, вызвав стон соседа по скамейке.

– Ну, Сальвадор так Сальвадор, – скривился Оценщик.

Каким макарончиком возникла кличка «Сальвадор», Оценщик не знал. Понятно, что не из-за испанца со знаменитыми усами. Поговаривали, что некогда специалиста по фамилии Ловчев забрасывали диверсантом-инструктором к партизанам в лесные межвулканы Сальвадора. И такое могло быть.

– Шеф тобой недоволен, – сказал Сальвадор.

– Он твой шеф, а не мой, – сказал Оценщик. – У меня нет шефов.

Сальвадор закурил.

Минуты две молчали. Закурил и Оценщик.

– Хорошо, – сказал Сальвадор. – Где серьги графини Тутумлиной, с изумрудами и бриллиантами на платиновой подкладке?

– Вы что, сдурели, что ли?! – удивился Оценщик. – Откуда я могу знать, где они?

– Ты, может, и не слышал о них? – усмехнулся Сальвадор.

– Слышал, – сказал Оценщик. – И не только слышал, но и держал в руках. Но где они теперь, я не знаю. Я полагал, что они у твоего шефа.

Держал, держал Оценщик в руках эти серьги. Переливами, игрой камней любовался. Некогда серьги принадлежали графине Ольге Константиновне Тутумлиной (дом на Покровке, нынче там концерт «Анаконда»). Эта Ольга Константиновна как-то привезла из Вены четыреста восемьдесят платьев. Было тогда московской красавице сорок лет. А накануне коронации Александра Второго, позже Освободителя, чтобы соответствовать себе и случаю, она в несколько дней, при тогдашнем европейском бездорожье, съездила в Париж, а ей уже исполнилось восемьдесят семь, и доставила к торжеству новейшие туалеты и драгоценности. Среди них и серьги с изумрудами и бриллиантами на платиновой основе. Её приятельница и ровесница княгиня Екатерина Мосальская, известная в Европе, как полуночная княгиня или принцесса Ноктюрн, уговаривала Тутумлину продать ей парижские серьги («к цвету глаз...»), прельщала одним из своих поместий в Новороссии, но увы... И вот теперь серьги Тутумлиной взволновали некогда шкодливого фарцовщика в жалких вельветовых штанишках, коммерсанта – из мелких, при том, наверняка, и стукача, а ныне – чуть ли не олигарха Суслопарова.

– Ну, так что, Оценщик, – сказал Ловчев-Сальвадор, – где серьги?

– Это когда-то я был Оценщик. Теперь я – подзаборная шваль. Про серьги поинтересуйтесь у Антиквара.

– К Антиквару у нас особенные счета. Но где он, Антиквар? Далече... – сказал Сальвадор. – У Олёны могут быть серьги? И камешка... как его?

– Гонзаго? – то ли спросил всерьез, то ли решил съехидничать Оценщик.

– Не Гонзаго... – поморщился Сальвадор. – А эта... из франкфуртской коллекции...

– Спросите у Олёны.

– У нее мы спросим. А пока спрашиваем у тебя. Ты должен знать, у Олёны ли серьги, и если они у нее, то где она их держит.

– Объясни, почему я должен это знать.

– Оценщик, я стараюсь быть терпеливым. Но твое вранье меня доведет. А ты меня знаешь. Шеф недоволен тобой еще и потому, что ты нарушил договоренность.

– Какую договоренность! – возмущился Оценщик. – Ни о чем мы с этим... твоим... не договаривались.

– После того, как ты продал Олёну моему шефу, – Сальвадор, будто на занятиях дикцией, старательно выговаривал каждое слово, видимо, и впрямь утихомиривал себя, – ты должен был держаться подальше от нее. Но как только последний ее покровитель, мурад этот страусиный, Хачапуров, отказал ей в средствах, ты возобновил с ней отношения, подыскал ей квартирку в Камергерском переулке и похаживал к ней.

– Ну и что? – сказал Оценщик. – Отчего бы и не поддержать брошенную всеми женщину?

– Поддерживать ее ты мог только трепотней. Ну, цветочками или коробками конфет. Платить за ее квартиру у тебя не хватило бы копеек. Платила она. Значит, деньги у нее были. Откуда? Цацки свои, брюлики свои спускала. Серьги же Тутумлиной вряд ли бы стала продавать или закладывать. Они из тех, ради каких брежневская сука прокалывала уши. А ты делаешь вид, будто не знаешь, что шеф серьги Олёне не подарил, а выдал во временное пользование. Она их не вернула. А они ему сейчас необходимы. Камея-то, хрен с ней, но и ее надо вернуть... Ты шлялся к ней, потому что в тебе не утихла страсть. Ты же был романтик! Или хотя бы потому, что считал себя виноватым перед ней – ведь продал ее, за деньги отдал. А она, шлюха рваная и хитрая, могла прикидываться все еще любящей и использовать тебя, а в играх своих и проговориться...

– Я не продавал ее... – прошептал Оценщик. И в собеседниках у него был как будто бы теперь вовсе не мужик в камуфляже, а некое существо, всёобъемлющее и милосердное.

– Это ты мне говоришь! – рассмеялся Сальвадор. И смех его вышел жутковатым.

– Я не продавал ее... Я был вынужден... Я уступил ее... Я сам отошел от нее... понял: она увлеклась другим... он был ей нужнее... иначе бы я по-иному уплатил долг... Она полюбила другого... В этом все дело! И я уступил... И неизвестно, кому было хуже, ей или мне... Но я не продавал ее!

– Ты продал, продал ее! – вскричал Сальвадор и руки, освобожденные из карманов, вскинул, будто собираясь схватить Оценщика за глотку. Но тут же и опустил их. И сказал уже тихо: – Ты продал ее. И она пошла по рукам. Но эта лживая шлюха и стоила того. За нос она водила не одного тебя. А ты уперся теперь и стараешься уберечь ее от неизбежного...

– Я не продавал ее...

– Заткнись! И не бубни! – сказал Сальвадор. – Я покурю. А ты помолчи. И вспомни, как все было. Может, поведешь себя разумнее...

«Сволочь! – чуть ли не застонал про себя Оценщик. – Сволочь! Желает, чтобы я снова нырнул в дерьмо, о каком смог забыть, желает, чтобы я размяк, разжалобил себя и позволил вытереть о себя ноги. Успокоиться надо, успокоиться...» Возникли в памяти видения их первой с Олёной встречи. Видения эти были оборваны неожиданным для Оценщика соображением. А Сальвадор-то, служака и исполнитель Ловчев, рядом с Олёной – коротышка, был влюблен в нее! Вот тебе раз! Но выходило – именно так! Ярость, с какой Ловчев вскричал о лживой шлюхе, водившей за нос не одного лишь его, Оценщика, можно было объяснить неравнодушием Ловчева, по понятиям Олёны – человека пустяшного, к ней. Нынче равнодушие это перегорело в ненависть, возможно, Олёна не только вводила Ловчева в заблуждения, но и унижала его, и теперь он стал для нее опасен...

История Оценщика с Олёной вышла чрезвычайно банальной для тех лет. Он был устроен, при делах. И хотя был воспитан романтиком и рыцарем («Ты же был романтик!» – съехидничал только что Сальвадор), деньги умел добывать самыми разнообразными способами, благо имелись приятели, с чьей помощью и удавалось проворачивать выгодные затеи. Шли грибные дожди, миллионы бумажек, обеспеченных золотом, произрастали из земли, их тех же дождей и из воздуха. И было бы глупо жить тютей, печалиться о том, что родился не вовремя, и в латаных портках дожидаться окончания Смуты. Нет, по примеру своих бойких ровесников, не стесненных какими-либо понятиями о стыде и о надписях на скрижалях, людей вполне заурядных, но ушлых, надо было с азартом добывать деньги, а с ними – и независимость. Независимость от всяческих обстоятельств времени. Собственную самодержавность. А потом уж на ее базальтовом основании и служить добродетелям. И Оценщику (прозвище к нему прилепили букинисты и антиквары) фартило. Олёна же явилась из своей Бутурлиновки (или из райцентра со схожим и нищим названием) завоевывать Москву. В каждом поезде в общих вагонах прибывали тогда в златоглавую десятки таких завоевательниц. Они и сейчас торопятся или плетутся в нее. У каждой особые житейские претензии и резоны. Олёна росла в своем городишке

первой красавицей и в выпускном классе была возведена на трон уездной королевы красоты. Влиятельные люди зазывали ее в Воронеж, Курск и даже Самару, но какие могут быть Воронеж, Курск и Самара, если есть Москва? Оценщик увидел ее на дне рождения соседа по двору, и были обмены первыми взглядами, и случилось безумие Оценщика. «Помешательство какое-то! – говорил он себе позже. – Наваждение!» Он был веселый и беззаботный ходок. А тут судьба его озаботила. Подарила ему страсть. Первый раз в жизни. Долго казалось, что и в последний. Расписываться с ним Олёна отказалась. Барышня была гордая и щепетильная. На ее взгляд, поход к Мендельсону мог опозлить их любовь, другим бы показалось, что она добывает московские квадратные метры и прописку. Мол, и так хорошо, и он – лучший в ее жизни мужчина. А и впрямь, поначалу все шло хорошо. Связи у Оценщика были, и не без его усердий Олёна поступила в ГИТИС, а потом была представлена Славе Зайцеву и получила от маэстро приглашение участвовать в его показах (рост и внешность позволяли, и ум, добавил Зайцев). Олёна, действительно, была неглупа и остроумна, имела и иные достоинства, некоторые из них, правда, были преувеличены слепотой влюбленного Оценщика. Но вот нетерпения свои Олёна подавить не смогла. Или не захотела.

И вышло так, будто Оценщик одарил ее лишь корытом, а ей, при ее красотах и талантах полагалось уже столбовое дворянство. И сейчас же. Снятая для нее в Чертанове квартирка (был жив еще отец Оценщика, и Олёна не захотела жить подселенкой в коммуналке) стала казаться ей жалкой и окраинно-непрестижной. Салона мадам Рекамье устроить там было никак нельзя. И первоначальные протекции Оценщика (ГИТИС, показы у Славы Зайцева) могли принести Олёне удачи лишь при долговременных стараниях. А хотелось, чтобы удачи эти состоялись не завтра, не послезавтра, не через четыре года, а сегодня. Примеры продвижений завоевательниц и охотниц, прибывших из всяческих Ковылкиных и Грязей, были на слуху. Одна из них, любовница олигарха, отправленная им в запас, получила место телеведущей с помесечным поощрением трудов в десятки тысяч долларов. Другая, побывшая женой капиталиста всего полгода, высудила при разводе полмиллиона опять же не рублей и виллу в Сен-Тропе. И так далее. А она, Олёна, была уже не какая-нибудь простушка в степном городке с конкурсной короной на голове, но не золотой, а выделанной из баночной жести. Её признала Москва, и она знала себе цену. Она так считала.

Оценщику же приходилось считать денежные знаки. В минуты холодных мыслей, когда ненадолго рассеивалось марево наваждения, он понимал, что Олёна не только нетерпелива, но капризна и ленива. Однако вблизи Олёны эти мысли исчезали. И Оценщик обещал себе, пусть и рискуя жизнью, пусть и в хождениях по краю пропасти, упования Олёны осуществить. Олёна была для него и Клеопатра, и царица Тамара, и ночи с ней (и дни тоже) он был согласен продлить любой ценой. Потому и затеял два предприятия – одно было связано с антиквариатом, другое – с торговлей книжными учебниками, тогда дефицитом. Прогорел и попал в долги. Был поставлен на счетчик. Бросился к Пашке Суслопарову, бывшему фарцовщику, у которого еще старшекласником добывал фирменные джинсы, просить об одолжении. Говорили, Пашка одно время был связан с братками, но состояние, по всем правилам нынешней коммерции, сделал на закупке и продаже компьютеров. Пашка, хитрый стервец, лет на пять старше Оценщика, сам некогда ходил у того в должниках, но был прощен и помилован. Он, уже и не Пашка, а Павел Васильевич, катавший на «Мерседесе» с джипом охраны следом, знал, ради чего и ради кого Оценщик суетился. И знал, чем суэта эта закончится. А потому просьбу Оценщика уважил. При этом как бы пошутил: «Безумству храбрых поем мы песню». Но тут же словно бы и одобрил безумство Оценщика: «Я тебя понимаю. И я тебе завидую. Она – как Шемаханская царица!» Пашкина похвала Олёны вышла сомнительной. Но Пашка-то явно выразил свое восхищение женщиной. Оценщику бы насторожиться. А ему тогда одобрения мужиками его подруги были в радость.

В ослеплении своем он был уверен, что любовь Олёны к нему равноценна его любви к ней, что они единое существо. И что даже в случае его краха, она отправится с ним на буровые вышки Уренгоя, если в том возникнет необходимость. А крах и произошел. Отзвенел будильник, сообщив серьезным людям: срок пришел, должника надобно за нарушение слова пристрелить, прирезать или подвесить за яйца. Оценщик был азартен, но казино объезжал за две версты, теперь же бросился и в казино. Эскалатор невезений потащил его вниз, все, что имел, проиграл вдрызг. Как ни унижительно было снова идти к Суслопарову, пошел. Павел Васильевич выслушал его и сказал спокойно: «Вот что, друг, если не хочешь быть закатанным в асфальт, уступи мне Олёну». «То есть как?» – ошалел Оценщик. «А так. Уступи мне Олёну, и все долги твои будут списаны. Она перейдет ко мне, а ты торгуй учебниками у магазина „Учпедгиз“ на углу Дмитровки и Камергерского, раз ни на что другое не способен». «Она любит меня, – сказал Оценщик. – Она не допустит никакой идиотской сделки! Да и я никому ее не уступлю!» «А вот и спросим ее, – сказал Суслопаров, – допустит она или не допустит». И полчаса не прошло, как Олёна была привезена к дому Суслопарова. «Привезена, – сказал Суслопаров, – а с завтрашнего дня сможет сама разезжать в собственном „Порше“. Олёна, я предложил твоему другу сделку. Он считает, что ты ее не допустишь. Твое слово». Олёна, в черном, будто в трауре, но прекрасная и в трауре, подошла к Оценщику, опустилась перед ним на корточки (на пол не уселась), гладила его колени, глядела в его глаза карими очами диканьковской красавицы, слезы текли по ее чуть скуластым щекам (ведь готовилась и в актрисы), сказала: «Милый, любовь моя, я грешная женщина, я тебя не стою, мне было хорошо с тобой, но в бедности я жить не могу. Я могу остаться с тобой, но я не хочу быть тебе обузой, не хочу, чтобы ты стал из-за меня неудачником, и уж тем более не хочу, чтобы ты погиб из-за меня...» Оценщик вскочил, хлопнул дверью, долго шлялся по городу... Утром явился к Суслопарову, произнес мрачно: «Я согласен на твои условия. Она не любит меня. Кроме неудач я ей ничего не дам». «Подпиши бумагу», – сказал Суслопаров. В бумаге утверждалось, что в связи с тем, что господин Н. (Оценщик. В разговоре на Тверском бульваре исполнитель Сальвадор только так именовал человека в кепке – по чину полагалось. И автор фамилию его пока не называет. А может, и вовсе не назовет. Из-за наивной корысти приманить читателя пусть и призраком тайны. А возможно, и по иной причине. И не исключено, что человек в кепке перестанет быть участником предлагаемой автором истории. Пусть он так и остается Оценщиком) передает под покровительство господина Суслопарова П.В., свою гражданскую жену госпожу О., долги господина Н. признаются выплаченными одновременно и полностью. «Не думай, что я издеваюсь над тобой, – сказал Суслопаров. – Это каприз Олёны. Ей зачем-то нужна такая бумага». И Оценщик со злостью (на себя, на себя!) подписал документ. «И прекрасно! – сказал Суслопаров. – Сделка состоялась. Продажа и покупка совершены. И – это уже моя просьба, и не просьба даже, а условие – держись подальше от Олёны, иначе...» «Что иначе?! – вскричал Оценщик. – Да на кой мне нужна твоя Олёна!» И матерно выругался.

Страсть его преобразовалась в неистовство. Впрочем, не надолго. Черная черта была проведена в его жизни. Черный предел. Крах не только в деловых предприятиях, но в первую очередь в истории с Олёной смял, раздавил его. Она предала его. Но и он продал ее. Однако предала ли? Стало быть, и не любила, а лишь искала московских выгод, поняла, что выгоды эти следует добывать с более удачливыми кавалерами и предпочла Суслопарова. Бизнес и в любви есть бизнес. И он, сберегая жизнь, согласился на сделку. Все оправданно и целесообразно. И надо успокоиться.

Но успокоиться не мог. Тянуло его видеть Олёну каждый день, хоть бы уголком глаза, хоть бы издали. Но не удавалось. И к лучшему. Время и отдаление от Олёны стало остужать его страсть. Знал же он о ней все. Долгое время она процветала. Суслопаров демонстрировал ее публике и был доволен своим приобретением. Прикупил домишко в Марабеле на испанском берегу, напротив Танжера. Олёна по-лягушачьи плавала там в теплых течениях и прогулива-

лась на яхте. Драгоценности её поражали аборигенов, владевших и семейными замками. Но провести её в столбовые дворянки не смог даже и Суслопаров. То есть он мог купить ей любой титул. Хоть герцогини, хоть принцессы, может, княжества, а может и северной конституционной монархии. А уж произвести ее в какую-нибудь баронессу фон было проще простого (что он в кураже и сделал). Но толку-то что? Что толку? В отечестве-то родном он даже и при всех своих цветных и редких металлах, при десятке прикормленных депутатов, но с корявым прошлым, в светский круг принят не был. Ему-то ладно, перенес бы. Но и к Олёне, в документах теперь – баронессе фон Кайзерслаутерн, явившейся однажды в Английский клуб (за членство внесено пять тысяч в вашингтонах) с фамильной диадемой в роскошных волосах, прочими драгоценностями, в нарядах от Лагерфельда, было проявлено высокомерие и пренебрежение. То есть было высказано молчаливое: «Пошли вон!» Все это повторилось и на Венском балу в Гостином дворе. И начались капризы Олёны, обиды, скандалы. И главное, она не знала, чего хотела. Суслопарову (и его унизили) она надоела, стала противна, и он проиграл ее в покер виноторговцу Каляеву, отчего-то имевшему среди своих прозвище «Гончий пес». И с Гончим Псом она поначалу играла в ладушки, но потом своими капризами дала виноторговцу повод напомнить ей, что она не подруга жизни, а фифа картежная, и всяких блядей ему хватает в саунах и на рыбалке. Далее она переходила от покровителя к покровителю, после Гончего Пса их было пятеро. Кто-то ее перекупал, кто-то на время принимал в свою загородную обитель из любопытства и для пополнения впечатлений. Все же баба она была благородно-красивая, а в эротических упражнениях – умелая и бесстыжая. Но в разговорах мужиков она оставалась баронессой фон Саманезнаетчегохочет. Один из ее кормильцев возжелал произвести ее в шоу-звезду (нравилось ее томное пение под гитару при свечах и с бокалом красного вина на столике), и чтобы копейки с того потекли, определил ее в Гнесинку, она вдруг распелась, продюсеры возникли вблизи нее, но она взяла и заскучала. Устававшему после трудов несправедливых ресторатору Чуйкину она портила настроение сварами с уборщицами, горничной и водителем. И даже с домашними животными. «Барыня крыжопольская!» – ворчала горничная. Горбоносый повелитель из приэльбрусья произвел ее в Шахерезады, по причине женской сладости имя наложницы изменил и называл ее Сахарозадой, но провести тысячу и одну ночь они не смогли. Последним её хозяином был архитектор Хачапуров. Дела повлекли его в Калмыкию возводить страусиные фермы и монументы, он потребовал сопровождать его в Элисту, но стать подружкой степей Олёна не пожелала. Горячий человек раскричался и выставил Олёну с чемоданами её шмоток на лестничную площадку. Бездомная, она вспомнила про Оценщика, и он, не вступая с Олёной в душевные разговоры, подыскал ей квартиру в Камергерском переулке, во флигеле.

Деньги у нее были. Урвала, накопила. К тому же состоялся съезд бывших обладателей Олёниных прелестей. Или съезд потребителей, не важно. Но именно съезд. Не пешком же они прибыли к ресторану «Пушкинъ». Не явились на съезд имевший претензии к Олёне Суслопаров и отбывший к страусам Хачапуров. Остальные же, узнав о ее бедствиях, Олёну пожалели. Запомнилась она им не одними лишь капризами. И каждый из них согласился выдавать Олёне ежегодную стипендию. Стало быть, из содержанок Олёна превратилась в стипендиатку. Баронессой она осталась. В новом паспорте к ее уездной фамилии было добавлено: фон Кайзерслаутерн.

Поддерживать отношения с Олёной Оценщик не собирался. И из-за обиды на нее. И из-за того, что при каждой встрече с ней неминуемы были воспоминания о собственном житейском крахе. Но заживал к ней, заживал. Тянуло. И именно с цветочками, с коробками конфет «А. Коркунов» или «Шармель», а порой и с напитками. Олёна была уже не та. Оплыла, одомашнилась, что ли, встречала его иногда и неряшливой. Но Оценщик понимал, что натура у нее не утихла, и рано или поздно Олёна затеет новый полет к звездам. И средства у нее на это есть. Следовали намеки, какие. Лучше бы их Оценщик не слышал. Лесть и нежности Олёны не могли его обмануть, в ее затее ему была уготована роль разгоночной ракеты, и не ракеты

даже, а её ступени, третьей или пятой. Из тех, что обречены отвалиться и сгореть в атмосфере. Пока во всяком случае она ластилась к нему и, женщина ощутимо оголодавшая, не прочь была оставить его при себе на ночь. Но Оценщик был омерзительно стоек, говорил Олёне, что он не способен более на любовные подвиги, жизнь отучила, что он нынче затворник, аскет, умиротворяющий или уже умиривший плоть. «Зачем же ты ходишь ко мне?» – однажды искренне удивилась Олёна. «Жалею, – сказал Оценщик. – Жалею тебя. Жалею себя. Жалею свою жизнь...»

– Ну что, Оценщик, просмотрел свою мыльную оперу? – услышал он.

Он сидел на Тверском бульваре на желтой скамейке в сухой безветренный день. Рядом ухмылялся мужик в камуфляже и кирзовых сапогах. Старательный исполнитель Сальвадор-Ловчев.

– Ну и как? – спросил Сальвадор. – Будешь и дальше артачиться? Или как?

– Я не понимаю, – сказал Оценщик, – смысла вашего обращения ко мне.

– Не обращения, а требования, – сказал Сальвадор. – Я тебя вразумлю. Олёну шеф запретил, мягко сказать, трогать. И дело не в его лирических воспоминаниях, а в том, что шеф стал набожным. Церковь поставил у себя за забором. Пожертвования производит. Орден у него на цепи. Следует заповедям, – в словах Сальвадора Оценщик уловил усмешку, вполне объяснимую. – Люди же при нем служат из тех, кому никакие грехи не страшны. Они им в радость. И они неуравновешенные. И если ты хочешь Олёну уберечь, убереги ее.

– Каким образом? – спросил Оценщик.

– Не нужны поводы расспрашивать Олёну с воздействиями... Так скажем.

– То есть – пытаться?

– Понимай, как понимаешь.

– Никакие ваши требования выполнять я не буду! – с раздражением произнес Оценщик. Сальвадор и его слова вызвали в нем протесты и желание дерзить.

– Оценщик, – Сальвадор опять выговаривал слова, будто совершенствуя дикцию, – ты смотрел хотя бы первую серию фильма под названием «Место встречи...»? Смотрел... В этой серии на лавочке остается сидеть человек в кепке, вызванный МУРом из Ярославля. Остается сидеть бездыханным... Сейчас я произведу движение и точно таким человеком станешь ты. Ты меня знаешь. Я не шучу.

– Что вам от меня надо? – выговорил Оценщик.

– Малости. Сказать нам, где Олёна держит серьги Тутумлиной, есть ли у нее тайник и если есть, где он.

– Серьги, по всей вероятности, она не сбыла. Но где они, она не посчитала нужным мне открыть. Тайник у нее есть, проговорила, но где он – в квартире или в ином месте, мне тоже неизвестно. Я ни о чем не умалчиваю...

– Верю, – сказал Сальвадор. – С паршивой овцы хоть шерсти...

– И все? – спросил Оценщик.

– И второе, – сказал Сальвадор. – Раз не знаешь, где тайник, узнай. Убеди эту шлюху, эту суку продажную в том, что ее положение серьезное. Что ей выгоднее серьги вернуть и все свои секреты открыть шефу. Иначе ей будет плохо.

– Попробую, – сказал Оценщик. – Но вряд ли выйдет толк...

– А ты уж постарайся! – приказал Сальвадор. – И про себя подумай!

Сальвадор снова вызвал ненависть Оценщика и желание дерзить.

– Слушать она меня не будет, – сказал он. – Она – сама по себе! Я сам по себе!

– Ясно, – вздохнул Сальвадор. – Разговор с тобой, выходит, был почти напрасный. Но с паршивой овцы хоть клочок... Ладно. Не поминай лихом. Все.

Сальвадор ткнул Оценщика в бок, встал и неспешно направился в сторону подземного перехода.

Оценщик остался сидеть. Козырек кепки по прежнему прикрывал кончик его носа. На скамейку к нему никто не присаживался. У прохожих он не вызывал ни воробьиного интереса. И если бы даже гипотетический наблюдатель попробовал со вниманием рассмотреть человека в кепке, он вряд ли бы понял, дремлет ли тот, размышляет, отделившись от суеты света. Или он уже не способен ни дремать, ни размышлять.

4

Но в те дни уже пробуравило сознание многих: скоро, очень скоро закусочную закроют. Будто бы она общепитовский анахронизм. Напротив, в помещениях некогда лелеемого властями магазина Политической книги (первоисточники, избранные статьи и речи Сусллова, иных стратегов и мыслителей, общественные наставления и пр.), заалел призывными огнями ресторан «Древний Китай», а под огнями зазеленели изломами будто бы крыши фанзы. Ежевечерне ресторан был пуст, как и недалёкое от него «Артистико», некогда шумное и достойное посещения кафе. Как уж тут было устоять закусочной, в нее уже упирался псевдо-ностальгический ресторан «Оранжевый галстук» с кружкой пива за сто двадцать рублей и несворачиваемостью звуков группы «Браво».

Прокопьев, естественно, не мог не опечалиться. Что ему теперь было размышлять о непутевой девице Нине, чьей-то секретарше либо конторщице, если возникла опасность изведения камергерской солянки.

Конечно, не один Прокопьев опечалился. И меня предстоящее закрытие закусочной не обрадовало. Помимо всего прочего я опять ощущал себя винтиком. За меня принимали решения декоративный рабочий Шандыбин (уже тогда вошло в поговорку: «Умен, как Шандыбин») и декоративный крестьянин Харитонов. Этих бы удрученных народными заботами бессеребреников снабдить серпом и молотом и отпустить постоять на свежем воздухе взамен утомившемуся мухинскому творению. Но названные двое и иже с ними пеклись обо мне на государственном уровне. Теперь, в случае с закусочной, дяди и тети с кошельками намерены были показать мне, кто и в моей повседневности хозяин. Впрочем, о моем существовании они и знать не знали. В их расчетах я входил в общую толпу способных принести выгоду.

Хотя, конечно, надо было дожидаться решительного закрытия дверей закусочной, а уж тогда печалиться. Но мы до того привыкли пребывать в ожиданиях неприятностей и перемен к худшему (вроде бы возникло нечто полуустойчивое, но не верим в него, вот-вот упадут цены на нефть и нате вам – обвалы, дефолт, сухие лепешки), что для нас главным становится и не жизнь, а именно ожидание неприятностей. Или нелепиц и невероятных поворотов судеб. И поэтому естественным показалось в закусочной заявление уже знакомого Прокопьеву местного частного извозчика, водилы-бомбилы родом из Касимова, Василия Фонарева.

Васек, а день был холодный, с ледком на тротуарах, опять явился в майке и шлепанцах на босые ноги. Он заказал сто пятьдесят граммов водки с кружкой пива и весело направился к столику Прокопьева.

– Васек, а деньги? – брошено было ему в спину кассиршей Людой.

– Какие, Людмила Васильевна, деньги? – удивился Васек.

– То есть как, какие деньги?

– Да вы что! Денег теперь нет. Их отменили.

– Когда отменили?

– Сегодня утром.

– Все деньги?

– Не знаю, как в других странах. А у нас – все.

– От кого ты слышал?

– По телевизору объявили. Ровно в двенадцать.

– Ты сам слышал?

– Мне-то зачем? Полковник слышала. Сначала заплакала. Потом обрадовалась. Стерва!

– К вам опять, что ли, гуманоиды прилетали?

– Нет, не прилетали. Уже неделю как не прилетали. Совсем обнаглели. Башки бы им поотрывать! Вот полковник от расстройств и послала меня в «Красные двери» за бутылём.

– И деньги тебе дала?

– Какие деньги! – возмутился Васек. – Я же вам объясняю: деньги отменили. Вы, Людмила Васильевна, сегодня какая-то бестолковая. И зря вы сидите сейчас за кассой. Нет денег. Нет касс. И нет кассирш.

– Нет, Васек, погоди... – кассирша Люда и впрямь растерялась. – Последите за кассой (это – к Прокопьеву), я сейчас переговорю с администрацией...

Возвращения Люды Васек дожидаться не стал, а освободив от жидкостей кружку и стакан, ринулся, по всей вероятности, в магазин «Красные двери» выполнять указание стервы-полковника. Позволил себе лишь бросить Прокопьеву:

– Банка воды из Касимова за мной. А как же? Трехлитровая.

Беседа кассирши Люды с администрацией вышла долгой, возможно, со справочными звонками кому-то, из кухни кассирша выскочила в возбуждении.

– Где Васек-то? Где этот жулик? Деньги, видите ли, отменили! Сейчас мы его отловим, грабителя!

Она пронеслась мимо столиков, вырвалась на просторы Камергерского, разнесенному в ключья должно было стать частному извозчику Василию Фонареву, обижаемому гуманоидами! Однако опоздала Людмила Васильевна, опоздала! Не был ею отловлен шустрый нынче касимовский уроженец.

– И их облапошил Васек-то! – возмущалась, но при этом и радовалась Людмила Васильевна. – Попросил дать ему бутылку водки, мол, посмотреть, какого завода, не осетинского ли, потом объявил, что деньги отменены с полвторого и утек. А в «Красных дверях» все рты пооткрывали и будто в полы вмерзли. Вот ведь жулик! Вот ведь молодец отчаянный! Но ничего! Я его достану! Я его обнаружу! Я знаю, где его форточка! Я на него еще трех гуманоидов направлю! Вот с такими ниппелями!

Следом в закуской появились актер Николай Симбирцев, Прокопьев уже знал его фамилию, и первейший знаток прекрасного Александр Михайлович Мельников. Опять без церемоний они присели за столик Прокопьева. Об отмене денег они явно не слышали и к радости Люды оплатили выпивку и бутерброды. Кивнув Прокопьеву как несущественно знакомому, они продолжили разговор, возникший, видимо, по дороге в закускую.

– Врешь ты, Шурик, врешь! – радостно говорил Симбирцев, поднесший ко рту рюмку коньяка. – Все ты знаешь, а кто такой Пуговицын не знаешь. И никогда не знал. Хотя и совал рожу в книги.

– Фу! Как ты неблагородно говоришь! – возмутился Мельников. – Ну груби мне, груби! Ничего не изменится! Конечно, я хорошо знаю Мишу Пуговкина...

– Да не Пуговкина! А Пуговицына!

– Какого такого Пуговицына?

– Значит, ты плохо читал Гоголя.

– Николай Васильевич мне как отец! – программно заявил Мельников. – Я знаю его наизусть!

– Значит, не знаешь.

– Знаю, знаю, – Мельников капризно и как бы даже устало взмахнул рукой. – Успокойся. Кого кого, а уж Николая Васильевича...

– Хорошо, – сказал Симбирцев. – Ответь на вопрос кроссворда. Персонаж комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Девять букв. Первая «п», последняя «н».

– Мало ли какие идиоты составляли твой кроссворд! – поморщился Мельников.

– Не важно какие, – сказал Симбирцев. – Я открыл томик Гоголя и нашел в «Ревизоре» Пуговицына.

– И кто же этот Пуговицын? – Мельников, похоже, был удивлен искренне.

– Выскажи предположения...

– Наверное, кто-то из купцов с приношениями...

– Полицейский! – объявил Симбирцев. – Полицейский. Один из трех. Держиморда, Сви-
стунов и Пуговицын. Квартальный. Но в отличие от Держиморды и Свиштунова слов не про-
износит, а вместе с десятскими подчищает тротуар.

– Ну конечно же! – Мельников вскочил, вызвав недоумение в зале. – Я ведь перед тобой
дурака разыгрывал! Ваньку валял! Будто я не знаю, кто такой Пуговицын! Я, когда ставил
«Ревизора» в Твери...да, в Твери...Пуговицына сделал главным героем. Я ведь понял замысел
автора. Понял! И он, Николай Васильевич, потом являлся ко мне в сны и мои догадки под-
твердил. «Молодец, Шура, молодец! – по плечу меня похлопал. – Никто, Шура, не разгадал
мой потайной замысел, а ты разгадал! Докумекал!» А как же? Главная сцена в «Ревизоре» –
немая. И главный герой с объявленной фамилией Пуговицын – немой! Тротуар подчищает, да
еще и с десятскими, для отвлечения смысла.

– Какой репримант неожиданный! – рассмеялся Симбирцев.

– Что ты имеешь в виду? – присев, поинтересовался Мельников.

– Это не я имею в виду, а одна из дам в «Ревизоре». Как раз перед немой сценой.

– Опять ты шутики шутишь! – обиделся Мельников. – Просто ты не можешь понять силу,
нет, мощь моего замысла.

– Да видел я твой тверской спектакль! – сказал Симбирцев. – И не было в нем никакого
немого квартального Пуговицына!

– Не было! Конечно, не было! – согласился Мельников. – Меня этот стервец Меньшиков
подвел, Олег. Зазнался. Нос задрал. В Тверь не поехал.

– Да что он у тебя делал-то бы?

– Как что! Как что! – воскликнул Мельников. – Его немой Пуговицын присутствовал бы
во всех сценах, и именно все сцены от того вышли бы столь же значительными, как и знаме-
нитая финальная.

– По-моему, ты все это теперь придумываешь, – в задумчивости произнес Симбирцев. –
А прежде ты ни про какого Пуговицына не ведал и не думал.

– А хоть бы и теперь! – все более воодушевлялся Мельников. – Осознай, какое смелое
решение! Никому в голову такое не приходило. Даже Мейерхольду! Только мне. Ну и еще,
конечно, самому Николаю Васильевичу. Конечно, и ему тоже. Послушаем Прокопьева, пружинных дел мастера. Прокопьев, Сергей...

– Да просто Сергей! – вздрогнул Прокопьев. Произнесение звуков далось ему нелегко,
он ощущал себя онемевшим персонажем.

– Вот, вот! Что вы-то скажете о значении в «Ревизоре» немого квартального?

– Я...Я и не думал... – растерянно заговорил Прокопьев. – Я и не помню, что Пуговицын
есть в «Ревизоре»... Но по-моему вы, Александр Михайлович, все очень убедительно разъяс-
нили...

– Вот, Николай, вот! Простой-то человек как все чувствует! Ты – смеешься, а он – пони-
мает! – Мельников разулыбался, он, похоже, гордился теперь Прокопьевым, будто достойным
своим адептом. – Мастер – золотые руки! Кстати, а как обстоят дела с моим диваном и крес-
лами? Я ведь звонил вам...

– Вы звонили, – кивнул Прокопьев. – Мы договорились, что я зайду к вам вечером в
среду. Я заходил. Но дверь мне не открыли.

– В доме была одна собака, – вспомнил Мельников.

– Она мне не открыла...

– И правильно сделала! – одобрил собаку Мельников. – А то пришлось бы и в вас исправ-
лять пружины!

– Но ведь мы с вами договаривались, – произнес Прокопьев почти резко.

– Да! Да! – героем «Разбойников» Шиллера принялся вышвыривать из себя слова Мельников, укор Прокопьева явно не понравился ему. – Да, я просил вас оказать услугу! Но в среду вечером тени мастеров прошлого заставили меня отвлечься от ваших пружин!

И рука Мельникова словно бы отбросила от себя диванные пружины.

– Хорошо, будем считать – моих пружин, – сказал Прокопьев.

– Шура! – возликовал Симбирцев. – Ты как птица скопа над речным простором. Паришь в небесах над людьми!

– Ты бестолочь и пошляк, Николай! – воскликнул Мельников. – Ты ввел меня в раздражение Пуговицыным, а теперь изводишь пружинами! Я не могу... Тебе стоит швырнуть в лицо перчатку с вызовом!

Мельников вскочил и понесся из закуской. Симбирцев рассмеялся, произвел рукой некое движение, как бы одобряющее Прокопьева и его пребывание на Земле, и степенно последовал за попечителем Теней.

– А не вызовет ли он его теперь на дуэль? – тихо сказал Прокопьев, ни к кому не обращаясь. – Из-за Пуговицына и моих пружин...

– Кто кого? – удивилась кассирша Люда.

– Мельников Симбирцева...

– Ой! Ой! – воскликнула Люда, но чувствовалось, что соображение о дуэли вызвало в ней радость. – Для них же деньги не отменили! Какие могут быть между ними дуэли? Это Васек Касимовский норовит перебить гуманоидов. Я ему устрою! Каков! Кафе и без кассирш! Ну ладно, без денег! Но как же без кассирш-то? Водила отчаянный!

А в закускую тем временем вошел знакомый Прокопьеву Арсений Линикк, объявивший себя днями назад печальным Гномом Телеграфа.

– Сенечка к нам пожаловал! – обрадовалась Люда. – Душка ты наш!

Прокопьев уважал людей обязательных, сам старался держать слово, а потому действия достопочтенного Александра Михайловича Мельникова породили в нем недоумения. Впрочем, ему ли судить о загадках натур из поднебесий искусства? Но то, что он уже не пойдет починять диван и два кресла, обитые кожей, он постановил. Даже если Александр Михайлович извинится перед ним и станет рассыпать бисер, он в его дом не пойдет. Деньги? Ну и что деньги? Митя Шухов, тот, в нынешнем случае и виду не подал бы, взялся бы возродить диван с креслами, но вряд ли владелец мебели получал бы потом от нее удовольствия и комфорт.

– Я присяду рядом с вами? – спросил Линикк.

– Конечно, конечно! – сказал Прокопьев, – О чем речь!

Закуской к водке Линикком был выбран бутерброд с красной икрой.

– Это я теперь такой маленький, – объявил Линикк, – а еще совсем недавно я был девяносто метров в длину, двадцать в ширину и восемь в высоту...

Прокопьев все еще был в соображениях о дискуссии Мельникова с актером Симбирцевым (высокомерие Мельникова к ремеслу пружинных дел мастера его уже не знобило, дело определилось и рассеялось). Но неужто приятели и впрямь могут затеять дуэль или просто разругаться, продолжал гадать Прокопьев, и оттого слова Линикка о каких-то метрах в высоту и длину всерьез воспринять он не смог. Но Линикк будто бы ждал сострадания, и Прокопьев пожелал возразить.

– Какой же вы маленький! Ну, по нынешним временам рост у вас небольшой. Метр шестьдесят три, на взгляд. Но в плечах и в теле вы – атлет. На Олимпиаде в штанге вы все медали могли бы отнять у турок. И усы у вас гренадерские.

Линикк слов Прокопьева вроде бы не расслышал, вздохнул, отпил водки, укусил бутерброд и, помолчав, спросил:

– Вы хотите знать, где теперь Нина и что с ней?

– Какая Нина? – Прокопьев чуть ли не испугался. – И зачем мне знать о какой-то Нине?

Линикк с минуту внимательно смотрел в глаза Прокопьева.

– А что вы так волнуетесь? – сказал Линикк. – Если вы не помните о какой-либо Нине и ничего не хотите о ней знать, стоит ли вам волноваться?

– Я и не волнуюсь... – стал утихать Прокопьев. – Нисколько не волнуюсь...

«Нет, надо положить конец походам в Камергерский, – повелел себе Прокопьев. – Нелепости одна за другой. Деньги отменили. Мельников отчитал, будто я виноват в его затруднениях. Теперь Нина фантомная... Конечно, солянки здесь хороши, но ведь и в иных местах они, наверное, есть...»

– От пола до потолка здесь сколько метров? – спросил Линикк.

– Метров пять... – предположил Прокопьев. – Да, пять метров.

– Вот, – сказал Линикк. – А каким существовал я? Девяносто метров на двадцать и восемь в ширину!

– Какие же у вас тогда были усы? – удивился Прокопьев.

– А-а-а! – махнул рукой Линикк. – Какие полагались. И все нутро мое завезли из Германии. Поверженной. В сорок восьмом. Прошлого века. Потом, понятно, заменили многое. А теперь у нас хозяева – паучки из сети-паутины. Меня же расписали в Гномы...

«Ну ладно... – успокаивался Прокопьев. – Я-то забоялся, что он меня в тяготы Нины, той, разревевшейся, с дурной прической, пожелает втравить и действий потребует, а у него, похоже, здравого смысла в голове и на три гроша нет...»

– У меня иные представления о гномах, – не смог все же удержаться Прокопьев.

– Ваши представления, – сказал Линикк, – ничего не изменят.

– Мое существование в мире, – вздохнул Прокопьев, – вообще ничего не может изменить.

– Вот это вы напрасно, – покачал головой Линикк. – Это как сказать. Вы о многом не знаете. А кое-что от вас может зависеть не только в мебели, но и в судьбах иных людей. Да.

«Сейчас он опять начнет подсовывать мне Нину нечесанную», – возмутился Прокопьев.

– И что же на телеграфе нашем Центральном вы так и числитесь Гномом? – съехидничал Прокопьев. – Об окладе гнома я не спрашиваю из соображений приличия...

– Отчего же... – Арсений Линикк будто бы смутился, усы его углами потекли вниз, – отчего же... В штатном расписании я числюсь инженером по технике безопасности... Надзираю над кабельным хозяйством... оклад соответственный...

– Простите за бестактность, – сказал Прокопьев, – я ощущаю, что вы проявляете ко мне некий интерес. Или я ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь.

– И в чем же ваш интерес?

– Вы жертвенное существо, – произнес Линикк, как показалось Прокопьеву, торжественно и печально. – Но вы в этой истории – не главный. Главные в нем – другие...

– Вы сейчас – гном или этот... по технике безопасности? – спросил Прокопьев.

– Именно этот... по технике безопасности! – захохотал вдруг Арсений Линикк.

Он выглядел сейчас весельчаком, шляхтичем с кубком на попойке у пана Вишневецкого, но Прокопьеву стало не по себе.

– А ты, Сенечка, опять про своих кобелей заливаешь, – заметила долго молчавшая кассирша Люда.

– Ну, вот вы снова, Людмила Васильевна, надо мной насмешничаете! – всплеснул руками Линикк. – У меня в хозяйстве кабели, кабели, а не собаки! До слез обидно, Людмила Васильевна, до слез!

Однако никакие жидкости усы Арсения Линикка не омочили.

– А тебя, Сенечка, днем Тоня спрашивала, – объявила кассирша.

Линикк вскочил.

– Чур меня! Чур! Что же вы меня раньше-то не предупредили! Бежать, бежать!

И явно испуганный Линикк, переставляя ноги по утиному, унес из закуской свое основательное тело.

– Вот трепач-то! – рассмеялась кассирша. – Он теперь еще и Гном Телеграфа!

– А разве не гном?.. – будто бы и не к кассирше, а к самому себе обращаясь, произнес Прокопьев.

– Какой же он гном! – хохотала кассирша. – Сколько лет его знаю, и Пилсудским был, и Маннергеймом, но гномом никогда!

Однако Прокопьеву было не до смеха. Его била дрожь. «Вы жертвенное существо, – звучало в нем, – вы жертвенное существо...» Он пытался образумить себя, признать Арсения Линикка личностью несерьезной, мягко сказать, а то и ущербной и уж, конечно, по версии кассирши Люды, трепачом. Но что это меняло? Пусть даже вечернее явление некоей Тони могло сокрушить дух Гнома Телеграфа или погоняльщика энергий по медным нитям. Ущербные и блаженные умели предрекать... Кто же определил его, Прокопьева, в жертвенные существа? И за какие такие свойства натуры? При чем ведь не в жертвенного человека, а именно в существо. В барана, что ли, коему суждено рухнуть в день сабантуя? Или в агнца, еще не откормленного и невинного? За что ему такая участь? Но ведь история с агнцем – история символическая, в символ чего могли произвести его, Прокопьева Сергея Максимовича, и что нынешней жертвой намерены были испустить, уберечь или спасти? Или кого улестить? Никакие разумные разъяснения в голову Прокопьеву не приходили...

– Да что это вы, – обеспокоилась кассирша Люда, – Сергей...

– Максимович, – подсказал Прокопьев.

– Сергей Максимович, что это вы так разволновались-то? Сенечка наш не только трепач и запуган подругой Тоней, у него еще и сотрясение было.

– Сотрясения у всех были, – стараясь не выказать дрожь, выговорил Прокопьев.

– И у вас сотрясение было? – удивилась Люда. – Ой! Ой!

– Я не про мозги, Людмила Васильевна, – мрачно сказал Прокопьев, – я про иные сотрясения...

– Ну, те-то сотрясения всем известны, – уточнение Прокопьева вроде бы кассиршу разочаровало. – Те-то что! А вот Сенечка головой падал на камни, не нарочно, конечно, но с кровью... А вы, ишь, как взъерошились! Вы лучше еще солянку закажите. А к ней и сто граммов.

– Солянку, пожалуй, отложим, – сказал Прокопьев. – А вот сто граммов, Дарьюшка, будьте добры, налейте.

Дарьюшкой Прокопьев (отчасти смущаясь – слащавости, что ли, своей или даже угодливости) назвал двадцатитрехлетнюю буфетчицу, гарную хохлушку из-под Херсона, нашедшую приют у родственников в Долбне. Дома ее окликали Одаркой, да и в Камергерском она ощущала себя Одаркой, однако для Прокопьева, знакомого с комической оперой Гулак-Артемовского, Одарка была дородной и скандальной бабищей, проживавшей за Дунаем, и иной осуществиться не могла.

Сто граммов дрожь Прокопьева отменили, но усатую рожу Арсения Линикка из его соображений не вывели. «И не главный я в этой истории, – вспоминал Прокопьев. – Да и отчего же мне быть главным, я всегда семистепенный... Главные – короли, ферзи, ладьи, а я пешка... Но принесение в жертву пешки – дело пустяшное... Неужели Линикк имел в виду шахматную партию? Вряд ли...» Шахматами Прокопьев не увлекался, а потому мысль о ферзях и пешках продолжения не получила.

А внимание кассирши Люды, как и буфетчицы Дарьюшки (позже Прокопьев называл ее Дашей), было уже занято явлением шумной дамы с двумя раздутыми сумками. Дама была коммивояжеркой, хорошо знакомой в закуской, привычнее говоря, толкачом-коробейником ходового товара. Она и ее сотоварки обслуживали в округе служительниц продуктовых магазинов и всяких, по их мнению, забегаловок. Производили они впечатление продуктивных бестий,

в отличие, скажем, от хрустальщиц. Те предлагали свои хрустали и фарфоры не то чтобы смущаясь, а словно бы стыдясь всего мира. Им на заводах в дни расплат вместо денег выдавали изделия, и приходилось путешествовать в столицу в надежде на щедрости москвичей. Сегодняшней коробейнице стесняться было нечего. Сумку свою она набила халатами, юбками, колготами, бельем и прочими дамскими радостями. Сейчас же за буфетной стойкой и на кухне начались смотрины товаров, примерки, с восторгами, вздохами, шлепками, нервными похихиваниями, будто бы вызванными щекотаниями. Понятно, что к поварихам и уборщицам не могли не присоединиться буфетчица и кассирша. «Сергей Максимович, за кассой приглядите», – было брошено благонадежному посетителю. Увы, улы, фейерверк жизни не состоялся нынче для Людмилы Васильевны. Ничто – ни шелковое, ни хлопчатобумажное, ни льняное, ни из искусственных волокон не оказалось безупречно приложимым к ее телу.

– Да, Тонечка, ты уж извини, – говорила Люда коробейнице, вернувшись к кассе, – я бы взяла, но слишком низко приталено и цветочки идут чересчур наискосок.

– Да чего извиняться-то! – весело отвечала ей коробейница, сумки ее чуть-чуть похудели. – Заказ твой я поняла. Во вторник твоя смена? Во вторник я тебе и принесу.

– Была бы баба ранена! – прозвучало в углу закуской, близком к окну.

Над столиком со стаканом в руке воздвигся свирепый мужчина, седой, лет шестидесяти пяти, не частый, но заметный посетитель закуской, объявлявший себя то летчиком-испытателем, то следователем по особогосударственным значениям. Может где-то он и летал или что-то пытал, но здесь он чаще проявлял себя горлопаном и бузотером.

– Была бы баба ранена! – прозвучало вновь, но уже как бы усиленное рупором.

За столиком оратора сидели крепкие мужчины, с лицами и повадками ответственных работников, то ли бывших, то ли удержавшихся.

– Но шел мужик с бараниной. И дал понять ей вовремя! – продолжал громобой. И заключил: – Так давайте выпьем за мужика с бараниной!

Соседи громобоя сейчас же вскочили и с возгласами одобрения чествовали звоном стаканов мужика, спасшего от паровоза рассеянную бабу.

– Николай Федорович, – оживилась кассирша Люда, – а где вы берете баранину? В нашем районе что-то она пропала...

– Людмила Васильевна, Людмила Васильевна, – сокрушенно покачал головой Николай Федорович. – Это же Маяковский, облачный в штанах. Плохо вы изучали в школе пролетарскую литературу!

– Я ее и вовсе не изучала...

– Людмила Васильевна... – осторожно начал Прокопьев, – коробейница... Тоня... Она и есть... подруга... ну... Линикка с Телеграфа?

– Да что вы, Сергей Максимович, – удивилась кассирша. – Та совсем другая.

– Но она собиралась придти вечером...

– Я Сеньку пугала! Вовсе она не собиралась. Что вы никак не можете забыть сенечкину блажь. Забудьте...

«Как же, – грустно подумал Прокопьев, – забудьте... Дурь какая! Что нашло на меня?..»

– Была бы баба ранена! – вновь прогремело в закуской.

5

В те дни у сантехника РЭУ № 6, что в Брюсовом переулке, Соломатина Андрея Антоновича, случилось некое приобретение. Вызов был из восьмого дома по Средне-Кисловскому переулку. Дом стоял на задах Консерватории. Соломатин, несмотря на малый срок службы коммунальщиком, успел его узнать. Строили дом, по тем временам – уважительного вида, в пять этажей, для профессорского состава детища Рубинштейна. Капитальный ремонт затевали в нем в тридцатые годы, позже усовершенствования были в нем эпизодические, и понятно, что нутро дома, особенно ведавшее перетеканием вод и других жидкостей, было дряхлое и больное. Поначалу квартиры устроили в доме истинно профессорские, да еще и с залами для инструментов, но в пору исторических воронок происходили здесь уплотнения. Случившиеся позже разуплотнения прежнюю натуру дому, однако, не вернули. Хотя и теперь проживали в нем консерваторские служители и просто музыканты, близость к Кремлю приманивала к зданию и благополучных господ, ценящих исторически-оправданное месторасположение Кисловской слободы. Солений на царский стол они, правда, не заготовляли, но позволяли себе закусь виски и текилы кадушечным огурцом.

Вызов был простой. Третий этаж (еврованна, хозяин с фабриками, по слухам, и клюквенный король, родом с Вологодчины) протек на второй этаж и на первый. Основательно протек.

На вызов Соломатин отправился в паре с Павлом Степановичем Каморзиным. Для дяди Паши Каморзина Соломатин поначалу был вовсе и не напарник, а так, ученичок. В прежние маршеобразующие времена его бы произвели в сан Наставника, о чем в коридоре ЖЭКа раскатали бы красными буквами на ватманском листе. Нынче дядя Паша ни в каких ученичках не нуждался, рядом с ним должен был быть работник и более никто. Соломатину тогда казалось, что Каморзин относится к нему с ехидством и даже полупрезрением, в первые дни он окликал Андрея исключительно «студентом», позже, вызвав некоторые подробности соломатинского жизненного движения (или – жизненедоумения), стал именовать его «доктором». И в этом «докторе» ехидств, похоже, рассыпалось и подпрыгивало куда больше, чем в «студенте».

На вид Каморзин был совершенный злодей. Здоровенный, под метр девяносто дяденька сорока семи лет, ручищи свисают до колен, как у человекообразного с острова Борнео («Вам бы на виолончели играть!» – позволил себе как-то съязвить Соломатин. «В ручной мяч гонял...» – буркнул в ответ Каморзин). Шкаф, амбал, мордovorот, вурдалак. Волос имел короткий, но выглядел взлохмаченным, на манер лешего из Лосиног острова. Из-под косматых бровей, спадавших ниже ресниц, оба ока его будто прорывались на свет и буравили пространство и размещенных в нем людей. Хозяев квартир, к каким он приходил по водным и отопительным делам, громила-сантехник, мягко сказать, смущал, но чаще, особенно у тех, кто видел его впервые, вызывал страхи: этакий и без всяких разводных ключей раскурочит кого хочешь, надо бы против таких умельцев держать в доме автомат или балончик с газом, но приходилось стоять рядом с ним и его клешнями, как бы чего не спер. А уж какие взгляды, пусть и мгновенные, бросал он на шкафы, безделушки в сервантах, на стены! Сразу было ясно: все рассмотрел. Даже тайники за обоями или в полу учуял, коли такие имелись. Наводчик. Дня через три придут грабители, или сам явится с отмычкой и мешком для добычи.

А Соломатину сразу сообщили, что Павел Степанович в своем деле – волчище матерый, то есть, конечно, искусство судовождения никак нельзя было сравнивать с хлопотами жилищно-коммунального хозяйства, но бывают, наверное, не только морские волки и волчицы. Вот и в ЖЭКах положено им быть. При этом за двадцать с лишним лет трудов не случилось никаких порочащих Каморзина происшествий.

Соломатин, чье первое впечатление от Каморзина совпало с впечатлениями расхожими, скоро открыл, что дядя Паша – не злодей (скажем так – видимо, не злодей), но уж во всяком случае – чудак.

Однажды в минуты безделья в РЭУ Соломатин застал Каморзина за чтением «Избранного» Эдуарда Асадова (другие их сослуживцы стучали костяшками козлино-рыбной игры). Соломатин чуть было не удивился вслух и не выразил своего отношения к уровню виршей лирического резонера. Но промолчал, побоявшись оскорбить привязанности коммунального волчищи. Действительно, для него, Соломатина, хорош Роберт Музиль, почему же для Каморзина должен быть плох Асадов? А Каморзин тогда смутился, томик Асадова сунул под пачканую куртку. Но вскоре выяснилось (и не могло не выясниться), что для дяди Паши Каморзина самое святое – Сергей Александрович Есенин.

Каморзин собирал не только сочинения, но и всяческие воспоминания, заметочки даже и в пять строк о нем и местах, где Есенин бывал, где что-нибудь сотворил или натворил. И это «натворил» было есенинское, а, стало быть, для Павла Степановича – тоже святое. Во всяком случае – возвышенно-оправданное. С удовольствием, но и как бы усмиряя гордыню приобщенного (может даже незаслуженно) к щедростям кумира Павел Степанович поведал Соломатину (вместе они работали уже два месяца) о здешних, никитских, есенинских достопримечательностях. Вот здесь, метрах в ста от их домоуправления («слово-то куда лучше, чем РЭУ, или для вас – нет?») возле Консерватории Сергей Александрович торговал книгами. «Да здесь был магазин имажинистов. На стеночке доска об этом. А само-то здание по деньгам отдано каким-то парфюмерам, какой-то похабной греческой таверне с оскорбительными ценами, за взятки, конечно, выкурили оттуда „Олады“, те студентикам были по карману, и водку там можно было пригубить за уместные бумажки. Ну да ладно...» А если пойти Брюсовым переулкем вверх, к Тверской, увидим дом, в коем зарезали Зинаиду Райх. «Как он издевался над этой Зинкой, – будто бы с умилением принимался вспоминать Каморзин, – по мордам бил... Но резать бы, конечно, не стал...» А не доходя до Райхиного с Мейерхольдом дома жил Василий Иванович Качалов, ну да, собака, лапа на прощанье, сами знаете... «Нет, нет, – заторопился Каморзин. – Я понимаю, о чем вы подумали... Конечно, Качалов поселился здесь в начале тридцатых, когда уж и Маяковского не было, а Райх зарезали в тридцать седьмом. Но все это не имеет значения. Для Сереги нет времени. Для него нет пустышных земных пределов и ограничений в перекрестках с чужими судьбами...» Каморзин оборвал свои слова, сигарету поджечь никак не мог, он опять смутился и теперь, похоже, всерьез. Смущение его, как понял позже Соломатин, было вызвано не произнесением пафосных слов насчет земных пределов и чужих судеб, а именно этим «Серегой». И будто бы неловкость возникла не от проявления фамильярности, а приоткрылся некий секрет, особенное расположение в мире Павла Степановича Каморзина и обожаемого им поэта, при котором Павлу Степановичу называть поэта Серегой было позволительно. Почувствовав это, Соломатин сразу же скорыми и частными вопросами отвлек Каморзина от углублений в таинственные острова его души. Павел Степанович успокоился и стал называть Соломатину иные никитские дома и квартиры, в каких мог гостевать Есенин или хотя бы останавливаться на ночлег. «И в нашем Брюсовом переулке... – осторожно начал Павел Степанович, – в том доме, где „Ремонт обуви“ и бар „У башмачника“ с плохим пивом, он проживал...» Покурили. «Бочку-то он именно здесь...» – глухо выговорил Каморзин, явно вопреки воле и намерениям. В глазах Каморзина возникло пылание, какое не могли скрыть кусты бровеносца, рот открылся сладко, давая соиздателю звука от диафрагмы и до кончика языка вытолкнуть в мир знаменательные слова. Но губы дяди Паши сейчас же будто бы в испуге прижались друг к другу, а пылание в глазах угасло. «Не достоин я узнать сокровенное Павла Степановича, – сообразил Соломатин. – Не достоин...»

Прошел месяц, прежде чем бочка снова была упомянута в разговоре Каморзина с Соломатиним. Павел Степанович, видимо, все еще приглядывался к Соломатину. А впрочем начать

свой рассказ он, возможно, не спешил не из-за каких-либо сомнений, а чтобы растянуть удовольствие.

На взгляд обывателя или просто здравомыслящего человека, посчитал Соломатин, история бочки могла быть признана знакомо-житейской. У иных она вызвала бы усмешку, хотя и с долей симпатии – экий ухах! Другие отнесли бы ее к числу дурацких, а участников ее назвали бы личностями безответственными. Впрочем, чего с кем не бывает... В сознании же Павла Степановича Каморзина, в его рассуждениях о жизни история с бочкой утвердилась воздушно-мифологической, все в ней было огромным и всемирным, она возносилась в выси над Брюсовым переулком, над Москвой, над Рязанской губернией, над муравейно-людской мельтешней.

О бочке Павел Степанович (Соломатин впервые узнал о ней) то ли прочитал лет восемь назад в какой-то газете, то ли услышал о ней в культурной телепередаче. Сам Каморзин рассказал о ней так. Случилось это то ли в двадцать третьем году, то ли в двадцать четвертом. Воспоминатель, начинающий в ту пору литератор, юнец пришел за гонораром на Мясницкую улицу. А в очередь к кассиру за ним встал Сергей Александрович Есенин. Наш юнец так и обомлел. Ну да, конечно, вы сейчас усмехнетесь – юнец! А ваш Сергей Александрович – не юнец? Извините, извините! Если загибать пальцы, то несомненно – юнец! Но нет, он – по судьбе, по творениям – был уже Гёте! («И Гёте знает, – отметил Соломатин. – И что же он читал у Гёте?»). Так вот, продолжил Каморзин, червонцы они получили, кто сколько – не знаю, полагаю, что Есенин больше. Юнцу нашему следовало бежать куда-то по делам, а у Сергея Александровича время было. Он и предложил начинающему посидеть где-нибудь в трактире. Вы бы отказались от такого предложения? То-то и оно. Но нам такого предложения не последует. Сидели они хорошо. Объяснялись друг другу в любви и творческом уважении. К удовольствию Есенина собеседник его был не поэтом, а прозаиком и чтением стихов не утомлял. В ходе застолья Сергей Александрович вспомнил, что ему завтра ехать в Константиново. Тут небесные глаза его затуманились, а потом и повлажнели (Павел Степанович будто бы сидел тогда в трактире на Мясницкой за соседним столиком), матушку вспомнил Сергей Александрович, нищую улицу деревенскую, берег окский. «Надо сейчас же покупки делать! – кулаком по столу вышло постановление. – Самое ценное нужно везти! Как ты думаешь – что?» Юнец наш, прозаик начинающий, принялся бормотать что-то про кружева, монисты, серьги, отрез миткаля или ситца, а матери рекомендовал прикупить душегрейку на козьем меху. «Дурень! – будто бы вскричал Есенин. – Дурень городской! А потому и никогда не напишешь „Илиаду“!» (Соломатин позже не напоминал Каморзину об «Илиаде», и вышло бы бестактно, и само обращение Каморзина в нашем случае к «Илиаде» было для ума Соломатина явлением непостижимым). «Кружева, монисты, отрезы! – продолжал кричать Есенин. – Керосин, дурень! Керосин!»

И они отправились в москательную лавку. (О, запахи детства! О, волшебные ароматы москательного магазина на Первой Мещанской! Это уже восклицает автор). «Бочку. Бочку керосина! – заказал Есенин. – Лучшего. А бочку самую большую!» Расторопным хозяином, признавшим Есенина, лучшим был объявлен керосин Бакинского товарищества бр. Векуа. (Соломатин ничего не слышал о Бакинском керосиновом товариществе и братьях Векуа, но проверять сведения Каморзина не было у него нужды). Наняли двух извозчиков, ломового, для бочки, и, как бы теперь сказали, легкового, для сопровождающих бочку лиц. Следовали описания путешествия с Мясницкой в Брюсов переулочек и описания Москвы нэповских лет, явно вызванные в Каморзине кадрами кинохроники, фильмом «Ехали в трамвае Ильф и Петров», а возможно и рисунками трех остроглазых весельчаков, в молодости – легко ироничных, позже натянувших на себя шапку Кукрыниксов. Трамваи, трамваи, гротесковые пересечения рельсовых путей, их немислимые петли, и зажатые машинами, обреченные на вымирание лошади и извозчики. Так или иначе бочка с керосином была доставлена в Брюсов переулочек. Извозчики отволокли ее за порог парадной двери, а тащить на пятый этаж отказались. Не подражались. Не

слаживались. Сергею Александровичу бы швырнуть им деньги или почитать стихи из кабацкого цикла. А он заупрямился, загоношился и учинил скандал. То есть скандал – в понимании извозчиков. Они сплюнули и удалились к своим колымагам. В разумении же прозаика начинающего, так и не сочинившего по прошествию лет «Илиаду», это был выплеск благородных чувств, рык или стон обиженного хамами гения. Юнец робко предложил мастеру оставить бочку здесь же, в чистых сенях подъезда, разве только придвинуть ее к стене да положить на нее бумажку: «Бочка такого-то. Просим уважения». Тем более, что завтра поутру ее потребовалось бы спускать с пятого этажа. «Ну уж конечно! – возмутился мастер. – Ну уж кукиш! Эти ваньки ее тут же и уворуют! Небось, сейчас сторожат за дверью с телегой!»

Естественно, юнцу начинающему и в голову не могла прийти мысль отказать во вспоможении мастеру. Он, если б смог, на руках отнес бы на пятый этаж и бочку, и самого Сергея Александровича. Но, увы, не мог. И начался подъем керосиновой бочки. А этажи в доходных домах – это вам не пролеты в спичечных коробках хрущевских расселений. На Монблан поднимались восходители! На Эверест! Да еще и по отвесному западному склону. «Мне бы тогда быть с ними! – чуть ли не застонал в отчаянии Каморзин. – Мне бы тогда...» Но что вызывать в себе тщетные сожаления?

Лестничные страдалцы наши с криками, с руганью, со стонами из-за придавленных пальцев, с короткими восторгами добрались до пятого этажа. То есть почти добрались. Последний привал перед последним маршем. Еще двенадцать ступеней восхождения. Уселись на камни отдышаться. Хорошо хоть фасадное окно, окнище, было растворено для продувания дома вечерним воздухом. То ли кручинушка овладела тогда Сергеем Александровичем, опустил он голову («Отчего же не буйную? – опять удивился Соломатин. – Буйную – тут положено!»), соломенные волосы его опали на щеки. То ли горевал он о своей судьбине, то ли складывал печальные строфы.

Тогда все и случилось. Прозаик начинающий чуть ли не придремал, а потому начальное движение поэта проглядел. Стадия поступка была срединная. Сергей Александрович, гений, выкрикнул: «А-а-а! Пошла бы она на...!», подскочил к бочке, поднял ее и вышвырнул в распах окна. Соломатин позже выслушал несколько версий истории бочки, и каждый раз Павлом Степановичем допускались свежие толкования случившегося восемьдесят лет назад. Лишь однажды Сергей Александрович вздымал бочку на грудь и грудью же, всем телом своим выталкивал бочку на уличные воздушы. Чаше же Сергей Александрович держал бочку над головой, на вытянутых руках, и швырял ее к небу, чтобы оттуда она низвергнулась на Землю. Деликатный вопрос Соломатина: а не подумал ли швырявший о том, что бочка могла обрушиться на каких-либо прохожих или, скажем, на легкомысленно бродивших собак, вызвал удивление Каморзина. Причем тут какие-то другие люди или тем более собаки? Действительно, согласился Соломатин, не причем. Гимнастические упражнения кумира с подъемом и метанием бочки Каморзин изымал из житейской низости и ставил ее в ряды надчеловеческие – мифологические, песенные, былинные и прочие. Причем все сравнения оказывались благосклонными именно к Сергею Александровичу. Степан Разин в набевшую волну швырял персианку, пусть и княжну, в коей, наверняка, было сорок килограммов. И вот об этом действии потомки вспоминают уже четвертое столетие. «Нашли с кем сравнивать! – проворчал Соломатин. – С Разиным, с этим кровопийцей...» (Соломатин считал Разина первейшим негодяем). «Я и не сравниваю!» – возмутился Каморзин. По мнению Каморзина, Есенин был истинным титаном. Но не Прометеем, упаси Боже, нет. Это Маяковский мог числить себя родственником Прометеев и желал пылать в сто тысяч солнц, допылался. Сергей Александрович не был воспламенителем или факельщиком, он скорее выступил в Брюсовом переулочке как титан-огнеборец, теперь бы сказали – титан-эколог. Последнее соображение смутило самого Каморзина. Он тут же объявил: ну если не титаном, то несомненно исполином. (Соломатину довелось видеть фотографии Есенина, вынутаго в «Англетере» из петли. Лежал – на чем-то – худенький опе-

чальный мальчик. Чуть ли не ребенок лежал... Какие уж тут Гераклы и Самсоны!). В представлениях же или в видениях Павла Степановича поэт с вознесенной над головой бочкой превращался именно в исполина, ростом с единственный (тогда) в столице небоскреб Нирензее, он возвышался над Москвой светочем и предупреждением (не только в этом «светоче и предупреждении», но и в других словах Каморзина кувыркались противоречия, однако они в сути отношений поклонника и поэта были естественны и ничего не меняли). Соломатин мог предположить, я, впрочем, повторюсь, что ему открыт лишь один эпизод из жизни Есенина, а таких эпизодов для Павла Степановича – тысячи, и каждый из них имеет суверенное каморзинское толкование.

Позже, если случались поводы, Каморзин снова вспоминал о бочке, но уже без пафоса, без пылания в очах, а именно как слесарь-сантехник. Поводы были самые простые – вызовы в дом с баром «У башмачника». Однажды Каморзин предложил Соломатину подняться к историческим ступенькам и фасадному окну, откуда и вылетела в пространство и в есениноведческое время, то есть в вечность, бочка Бакинского керосинового товарищества. Каморзин сидел на камнях лестницы, покуривал, и Соломатин видел, что наставник-напарник его волнуется. Причина волнения оказалась иной, нежели предполагал Соломатин. Выяснилось: Павел Степанович не был уверен в том, что Есенин проживал в облюбованном и узаконенным им, Каморзиным, здании, а не в соседнем, схожим со здешним размерами (ну лишь этажом ниже) и судьбой некогда процветающего доходного дома. Никаких документов Павел Степанович не видел. Все его установления опирались на свидетельства юнца начинающего, допущенного гением сопровождать бочку. Как-то сразу Каморзин уперся сознанием в дом номер два, строение один, с обувным ремонтом и полюбил его. Лишь через неделю сообразил, что и строение второе дома номер два имеет права на Сергея Александровича. Ущербная щепетильность грызла натуру Павла Степановича, но обговорить сомнения было не с кем. Не в Литературный же музей тащиться на посмешище! Теперь же собеседник образовался и был признан годным давать советы. Соломатин рекомендовал Каморзину отправиться в соседнее строение и там порассуждать. Каморзин, выяснилось, подобные путешествия проделывал и не раз. В полете между четвертым и пятым этажами Соломатину ничего нового не открылось. Те же полустертые ступени, те же коммунальные запахи – сверху обжаренного, возможно, для борща лука, снизу – рыбных котлет, то же фасадное окно, иных, правда, линий, однако готовое дать дорогу не только бочке, но и автомобилю «Газель». «Как же быть? Как же быть?» – страдальчески спрашивал Каморзин, будто отчаялся в тупике критского лабиринта, в руке его гас последний факел. «Проще простого! – без раздумий ответил Соломатин. – Куда привели флюиды вашей душевной близости с поэтом, там, стало быть, он и жил, там и теперь, наверняка, обитает его фантом, туда он несомненно и вез с Мясницкой бочку».

– Я так и предполагал! – выдохнул Каморзин.

– Павел Степанович, а с бочкой-то что вышло? – поинтересовался Соломатин, они уже тротуаром Брюсова переулка протискивались мимо нагло уставленных всюду иномарок здешних банкиров, в лучшем случае – пиликальщиков и трубачей, с острым, но подавленным желанием оцарапать полированные бока или сбить зеркальце заднего вида.

– Доктор, это и меня волнует! По словам того... начинающего прозаика... он, когда спустился в переулок, никакой бочки не увидел. И мертвые тела не лежали, и бранных слов никто не произносил. Переулок стоял пустой. А на булыжнике мостовой блестело и воняло лишь маслянистое пятно. То есть керосиновое пятно. Вот здесь! – указание Каморзина пальцем было уверенное, но Павел Степанович, видно, вспомнил о претензиях соседнего строения и добавил деликатно: – Или вон там... Ну, были еще и конские изделия...

– То есть бочку сперли?

– Ну, может и не сперли... А просто унесли или убрали с дороги... Дворники, да еще и с бляхами на груди, были тогда опорные люди в городе...

Павел Степанович не мог не признаться, что он («так, на всякий случай, а не из-за какой корысти») повел себя и искателем, пытался обнаружить в кварталах Кисловской слободы и Успенского вражека следы пребывания Сергея Александровича или даже реликвии его. («А то стал бы я околачиваться в нашей конторе с моими-то руками...» – было выговорено и тут же замком защелкнуто). Помолчав, Каморзин рассказал о том, что однажды вышел на носившего некогда дворницкую бляху и услышал от него: да, ходили здесь разговоры о керосиновой бочке некоего хулигана и охальника, чечетавшего, вроде бы, американские танцы в белом исподнем, и будто бы эту бочку не принимали в утиль...

6

Долгое мое событийное отвлечение произошло, прошу извинения, в тот самый временной промежуток, когда дядя Паша Каморзин и Андрей Соломатин отправились по вызову в Средне-Кисловский переулочек. Под ногами их была омерзительная скользь декабрьского подморозья. Соль в эту зиму сыпать запретили. Лишь кое-где, вблизи напуганных мэрией контор и магазинов, лед был сбит ломами.

– Доктор, а ведь мы с тобой, – заговорил Павел Степанович, он был сыт, благодушен, но отчего-то и зевал, – мы ведь с тобой могущественные и влиятельные люди...

– Я вас не понял, Павел Степанович, – рассеянно сказал Соломатин.

– Кучма, доктор, и вся их незалежность сидит на трубе. Латвия-Аспазия с мордой мопса сидит на трубе к ихним портам. А мы с тобой, доктор, на скольких трубах сидим? – и дядя Паша Каморзин ощутимо для прохожих рассмеялся.

– А какие наши выгоды? – спросил Соломатин. – Сравнение ваше, Павел Степанович, поехало мимо логики. Ко всему прочему мы не сидим, а ходим. И не возле труб, а возле трубочек. И текут в них не газ и не нефть, а в лучшем случае вода, во всех других случаях – дерьмо!

– Ну ты, доктор, не в духе, – вздохнул Каморзин и, надо полагать, осерчал на спутника, не пожелавшего поддержать разговор.

– Не в духе, – согласился Соломатин.

Молча они прошли мимо модных, с французскими эксклюзивами, витрин, мимо открытой двери рюмочной (Каморзин привычно острить здесь себе запретил), у театра Маяковского свернули в переулочек, временно пребывавший Собиновским, а теперь вернувшийся в Мало-Кисловское состояние, и тогда Каморзин не выдержал:

– В дом-то, куда мы идем, Есенин захаживал, у него знакомая там была...

Интерес Соломатина не был разбужен, но Каморзин добавил:

– Хористка...

Теперь не выдержал Соломатин, уважавший точность:

– Дом строили для консерваторской профессуры. Откуда ж тут взялась хористка?

– Ну может быть, и не хористка, – Каморзин не растерялся. – Хористка – это я для облегчения понимания... Может, какая известная музыкантша... Или, скажем, дочь профессорская... Или даже профессорская жена... В общем, было к кому заглянуть...

– Ну и слава Богу! – слова Соломатина прозвучали предложением помолчать.

– Ну и удручил кто-то тебя сегодня, доктор, – проворчал Павел Степанович будто бы для себя, но по морозцу внятно.

У дома с водяным происшествием их поджидал чернявый горбоносый мужик лет сорока в оранжевом муниципальном коконе поверх овчинного тулупа.

– Привет. Тренер сборной Голландии по футболу, – мужик протянул руку Соломатину.

– Ты все шуткуешь, Макс! – обрадовался Каморзин. – Чего тебе от нас?

– Степаныч, ты потом, когда дискуссию закроешь, посмотри с коллегой подвал, не залили ли и его, там у меня вещички кое-какие...

Макс, он же Максим, он же Максуд был сергачский, то есть нижегородский татарин, но это – факт его происхождения и племенной принадлежности: не из казанских, а из русских татар, московские в большинстве своем – не казанские. Для служителей же Брюсова переулочка и Кисловской слободы Макс был прежде всего – из «затверских». В здешней местности Тверская улица протекала как бы водным потоком. Причем – рекой большой, можно сказать, Волгой. И не потому, что улица была широкой, а потому, что на левом и правом берегах ее (берем направление на Тверь и Петербург) исторически, в двадцатом веке, местились разные районы, префектуры, округа, разные отделения милиции и столы прописки, то есть разные власти и

всяческие прикрепления и притязания. Я жил по левую сторону Тверской в Газетном переулке, в Камергерский попадал от Телеграфа подводным, надо признать, переходом. Так или иначе для нас и для РЭУ в Брюсовом переулке Макс был чужак, из «затверских». (Написав эти слова, я ощутил их вздорность. На самом же деле Тверская пролегла по холмам московского водораздела, с правого бока его ручьи стекали к Неглинной, с левого – к Москве-реке и низовьям той же Неглинной. Впрочем, где теперь эти холмы?). В доме вблизи Столешникова переулка Макс был прописан, там и служил дворником. Но и в Средне-Кисловском он также имел двор. Вблизи Столешникова Макса подменяли жена Раиса и разного возраста родственники и земляки из нижних сретенских переулков и улицы Дурова, все в оранжевом. Объяснения (или оправдания) коммунальных рвений Макса были простые. Он мечтал (страдал даже) устроить в деревне под Сергачом если не конский завод, то хотя бы лошадиную ферму. Грезилась ему линии по выделке сырокопченой колбасы «казы», по розливу в бутылки белопенного и в меру алкогольного кумыса, виделись на лугах у речки Пьяны, несущейся к Свяге, табуны скакунов, способных добывать валюту. Но увы! Увы! О, московские искушения, погубившие у многих мечты и начальные капиталы, судьбы людские покорежившие, кому вы неведомы! Да, известны всем и всякому! А потому в деревне Максуда Юлдашева скакуны пока не заводились, а колбаса «казы» и кумыс прибывали туда, как и в Москву, из мест более разумно-удачливых. Позже, уже по весне, когда в натурах иных москвичей пробуждение природы вызвало томление исконно-деревенского начала – овсы вот-вот взойдут! – Соломатин за столиком в рюмочной неосторожно посоветовал погрустневшему Максуде не расстраиваться, а заняться разведением в Сергаче медведей. «Чего?» – пробормотал Макс. Начитанный Соломатин принялся разяснять дважды дворнику (а может и трижды?), что в прошлые века в его Сергаче процветала медвежья академия, вторая в России, в ней учили медведей с серьгой в ухе выделывать на ярмарках и балаганах потешные номера. Макс громко возмутился, готов был кружкой ответить на подковырку водопроводчика, но неожиданно притих...

В квартиры с Каморзиным и Соломатиным Макс заходить, естественно, не стал. Дела, как и предполагал Каморзин, их ждали простые, но ведущие к удовольствиям. Или даже к добычам.

Протек на нижних соседей некий господин Квашнин. Год назад он купил в доме три квартиры, две на третьем этаже, одну на четвертом. Перестроил их, в верхнем помещении разместил кабинет, в нижних появились замечательные комфорта для буднично-житейских интересов и функций. Вид у господина Квашнина был хмуро-бледно-северный (то ли ижора, то ли из чухны) и это жильцов к нему отчасти расположило – вроде бы не бандит с кинжалом под буркой и родственниками абреками. Впрочем, и симпатий к нему никто не испытывал. Но и встречали его во дворе и в подъезде редко. От жильцов, залитых Квашниным, Каморзин с Соломатиным узнали, что двери на третьем этаже намерены были взламывать, но сообразили: для пролома их потребовался бы танк. Однако суэта вблизи дверей сигнальной системой вызвала к дому милиционеров. Потоп усмирили. Вскоре подкатил франтовато-важный господин, назвавшийся Агалаковым и домоправителем Квашнина. Этот Агалаков был скорее не озабочен, а возмущен происшествием. По его словам Квашнина в квартире не было, он сейчас не в Москве, а под Вологодой и в трудах. И вообще в квартире никого не было. И не могло быть. А, значит, потоп не наш. Его же, Агалакова, никто не вызывал, а подъехать побудило некое колющее предчувствие. Однако Каморзину с Соломатиным от дворника Макса было известно, что часа полтора назад из подъезда выбежала баба лет двадцати, брюнетка, в мохнатой шубе, с мордой распаренной и растерянной, вскочила в красный «Пежо» и укатила, бабу эту, как и других шлюх, Макс видел в обществе Квашнина.

Из приличия и по требованию Агалакова сантехники наши поднялись на четвертый этаж, полы и трубы в квартире над водяными удовольствиями Квашнина были сухие.

Милиционеры, лейтенант и старлей, квартиру пока не покидали, любопытство ли их удерживало или еще что... Агалаков, разместивший дубленую шубу на вешалке в прихожей, обращался именно к ним, а не к убогим водопроводчикам. В зимний день он оказался в квартире уважаемого клиента в белом костюме и белой же бабочке, был он живописен, темнорусые волосы до плеч, шекспировская бородка и усы вызывали у собеседников мысли об артистической натуре. Стоял и передвигался Агалаков, не меняя позы, руки его были сцеплены на белой груди, причем ладони их прижимались к локтям, голова же домоправителя была чуть откинута, будто бы Агалаков стоял перед полотном Паоло Уччелло и минуя взглядом всадников на переднем плане, рассматривал голубые тени в расщелинах дальних умбрийских гор. Был он вроде бы учтив и внимателен, но когда сощуривал глаза, Соломатину виделось в них высокомерие или даже брезгливость.

– Вот вы, – неожиданно для себя Соломатин обратился к Агалакову, – утверждаете, что в момент потопа в квартире никого не было. А нам сообщили, что именно тогда отсюда выскочила женщина, брюнетка двадцати лет и бросилась к красному «Пежо»...

– Кто вам сообщил? – возмущенно спросил Агалаков.

– Дворник.

– Кто?! – расхохотался Агалаков. Был бы в его руке лорнет, он непременно навел бы его на водопроводчика.

– Здешний дворник. Юлдашев.

– Дворник! – гоготал Агалаков, опять, вероятно, ожидая понимания милиционеров. Ему бы сейчас вздеть руки к небу и возбудить там иронию к уровню свидетеля, но нет, руки его так и остались сцепленными. – Дворник!

– Простите, – сказал Соломатин, – мы с Павлом Степановичем здесь по вызову, а в каком сане вы?

– Я домоуправитель Анатолия Васильевича Квашнина, – серьезно выговорил Агалаков. – Агалаков Николай Софронович.

– То есть вы управляете домами Квашнина? Иначе говоря, вы его домоуправ? Или даже дворецкий?

– Ну... – Агалаков впервые смутился. – Буквально так моя должность в контракте не названа... А по сути дела – да! Я присматриваю за городскими обиталищами Анатолия Васильевича.

– Ага... – Соломатин соображал неспеша, будто был тугоухий. – Значит, вы присматриваете за квартирой господина Квашнина, за мебелью в ней, за посудой, за полами, за кранами, за гостями... За гостями...

– Молодой человек, не знаю, кем вы упомянуты в штатном расписании вашего РЭУ, – «РЭУ» Агалаков произнес так, словно вспомнил о собачьей будке, глаза его сузились, губы сжались («Испепелить и сейчас же!» – вспоминал потом Соломатин), кисть левой руки его продолжала поддерживать локоть правой, правая же рука локоть отпустила, при этом произошло нервическое шевеление пальцев, – но ваше желание оказаться здесь следователем или даже прокурором – смешное.

– Вы ложно толкуете мой интерес, – тихо сказал Соломатин. – Мы с Павлом Степановичем обязаны лишь установить, кто виноват в происшествии и какой урон нанесен зданию и пострадавшим жильцам. Вы говорите, в квартире никого не было, а в ванной и в гостиной следы свежего пребывания женщины и ее внезапного отбытия очевидны.

– Отчего же именно женщины? С подачи дворника, что ли?

– Там и запахи... – робко вступил в собеседование Каморзин. – Еще живые... и непременно женские...

– Павел Степанович очень чувствителен к запахам... – кивнул Соломатин.

– Ба, ба, ба! – обрадовался Агалаков, левый локоть его вновь был обласкан ладонью. – К нам, оказывается, и нюхательные собаки забрели! Впрочем, пардон, пардон. Извините за неучтивость.

– Я предложу пройти в ванную, – сказал Соломатин. – И вам, и всем, кто пожелает. А потом и в гостиную...

Милиционеры пожелали.

Ванна, выложенная перламутровой и жемчужной плиткой, по привычке восприятия – плиткой, а может и неизвестно чем, была удивительного для обывателя, примятого курсом рубля к спасительным кубикам «Галина бланка», вида. Над полом возвышалась метра на полтора, тянулась от стены до стены («Метров шесть...» – прикинул Соломатин), изгибаясь, и имела как бы голубые заливы и лукоморья. Ясно, что создавали ее умельцы, неподотчетные РЭУ.

– Вот, пожалуйста... Как утверждают в кроссвордах, чисто женский прикид, – указал Соломатин. – Мятые, брошенные впопыхах, мокрые местами... Мы с Павлом Степановичем их не подбрасывали и в воду не макали. А дворник, кому нет оснований не доверять, сказал, что выбежавшая из подъезда девушка... дама... была – в морозец-то! – без чулок, шуба распахнулась, тело почти голое...

Чисто женским прикидом были названы черные колготки, валявшиеся на ворсисто-лохматом, часами раньше, ковре, теперь, понятно, прилизанном водой.

– Эротические видения дворника! Боже мой! И это приходится выслушивать! – Агалаков повернулся к милиционерам, призывая их оценить бестактности и глупости водопроводчиков.

«Э-э! Да у него на пиджаке хлястик!» – удивился Соломатин, обомлел даже, будто обнаружил близости от себя дитеныша плеозииозавра.

– А на полке – косметичка, из нее впопыхах изымали какие-то женские штучки... вот пилки для ногтей... а это, вероятно, гигиенические пакеты... А вот пятно от помады... Свежее...

– Ну, помадой и колготами, предположим, пользуются теперь не одни лишь женщины, – заметил старший лейтенант.

– Запахи исключительно женские! – строго сказал Каморзин.

– И запахи, знаете ли, самые специфические не обязательно могут происходить от женщин, – стоял на своем старший лейтенант.

– А в гостиной брошен шелковый шарф, – сказал Соломатин, – им тоже вроде бы вытирали помаду...

– Идиотка Нюрка! – шепотом выбранил идиотку Агалаков, но шепот его вышел гласным.

– Какая Нюрка? – поинтересовался лейтенант.

– Да нет, нет! – заспешил Агалаков. – Нюрка – это... Нюрка – это приходящая уборщица, была тут три дня назад и плохо все прибрала... Рассчитаю стерву!

– Про уборщицу ничего не могу сказать, – заявил Соломатин. – А наши соображения такие. Днем здесь нежилась в ванне некая женщина. Пена от ее шампуня, как видите, осталась на боках ванны. То ли она впала в дремоту, и не следила за потоком воды, то ли, и это вероятнее, что-то случилось. Звонок ли какой или еще что, но она в спешке или испуге выскочила из квартиры, оставив воду течь. О чем мы и напишем в служебном отчете.

– Погодите, погодите! – засуетился Агалаков, руки расцепил. – Вниз вода протечь не могла! Это исключено! Мастерами сток устроен идеально, наверняка, сами нижние на себя и протекли. У них трубы не меняли со времен шестой симфонии Чайковского!

– А мы сейчас к ним спустимся, – сказал Соломатин, – и все установим.

Под водоемом Квашнина, выяснилось, проживал музыковед Гладышев. Комната, приносящая воды, была и кабинетом, и столовой. Три стены в ней прикрывали накопители пыли – полки с книгами и альбомами нот.

– Смотрите, смотрите! – воскликнул Гладышев, размахивая пузырьком с валидолом. – Вот что наделал этот варвар-коннозаводчик!

«Коннозаводчик? Квашнин – коннозаводчик? – подумал Соломатин, – Стало быть, дворника Макса нельзя считать вполне объективным свидетелем... И все же...»

– Лучшие книги залиты, скрючены, испоганены, вот первое издание писем Мусоргского, им цены не было, теперь в какой-то вонючей пене!

– А может пена-то ваша? – брезгливо произнес Агалаков, вновь уже мраморно-мемориальный и со сцепленными руками.

– Потеки на книгах и стенах и по запаху соответствуют верхней шампуню, – сказал Каморзин. – Шампунь «Нивея».

– Погодите, погодите! – снова засуетился Агалаков. – А вы поглядите у этих старожил ихние древние трубы. Из них, небось, и хлещет! Где они, трубы-то?

– Они у нас в фанерном коробе, – растерялся музыковед. – Уж больно страшно смотрелись, мы их прикрыли коробом, обоями заклеили, вон там между полками...

– Из них и хлещет! – обрадовался Агалаков. – Не умеете благоденствовать, не умеете соответствовать уровню городского коммунального хозяйства! Стыдно вам должно быть! Водопроводчики, вскрывайте короб!

Соломатин встал на табуретку, большой отверткой разрезал обои, развел створки фанерного короба, труба, по навету Агалакова – будто бы ровесница симфоний Чайковского, была сухой.

– Вскрытие короба, – сказал Соломатин, – тоже запишут на счет Квашнина.

– Вы меня удивляете, молодой человек! – рассмеялся Агалаков. – Анатолий Васильевич подтерся бы вашими бумажками, если бы они были гигиенически приемлимыми. Может, вы и этими обмоченными письмами Мусоргского вздумаете нас допекать?

– Да как вы смеете так о первом издании! – вскричал музыковед Гладышев. Но тут же и спросил: – А мы с вами не знакомы? Где-то я вас встречал...

– Не имею чести. К счастью...

– Нет, точно, точно! – не унимался Гладышев. – Как же, как же, несколько лет назад я видел вас в мастерской художника Сундукова... Да, да, вы же там...

– Перекреститесь и отгоните привидения! – торопливо посоветовал Агалаков, а Соломатину будто приказал: – Теперь вниз, на первый этаж! У меня нет времени.

Похоже, он сбегал от затопленного музыковеда.

Понятно, что и на первом этаже, в квартире Сениных, ущербы, пусть и менее впечатляющие, нежели у Гладышевых, происходили от известного водоема. Куски потолочной штукатурки («голова могли пробить!») валялись и здесь на полу. Как и Гладышевым, Соломатин посоветовал посчитать на манер умеющих качать права жителей города Ленска все убытки от наводнения и не стеснять себя в претензиях и требованиях.

– Ну что, мастеровые, закончили комедию? – спросил Агалаков на лестничной площадке. – Вам понятно, с кем вы имеете дело? Или непонятно?

– Ну мы-то что же... – пробормотал Каморзин.

– Нам-то понятно, – сказал Соломатин. – Дело мы имеем с водопроводом.

– Ох! Ох! Храбрые портняжки! Семерых убивахом! Ну, смотрите. Если сочините всю вашу галиматью да еще и про девицу с голыми ногами, посыпятся на вас большие неприятности.

– А если не сочиним, посыпятся неприятности, что ли?

– Ну вы и вовсе наглее! Хотя отчего же, могу предложить и неприятности...

– Это мимо нас.

– Молодой человек, вы, видимо, из неудачников. Вроде этих замоченных. Из-за неудач вы и дерзите людям преуспевающим. Но неудачи вас еще ждут. Пеняйте на себя.

Соломатин смотрел в спину поспешившему на третий этаж Агалакову и вдруг выпалил будто бы в удивлении:

– Ба! Да у вас хлястик!

– Что? – Агалаков резко повернулся, словно в испуге.

– Взгляните, Павел Степанович! – возбуждение не оставило Соломатина. – У него на пиджаке хлястик!

– Ну и что? – удивился Каморзин.

– Ну как же! Хлястик!

– Хлястик. Ну и что?

– Да ничего... – утих Соломатин.

Он хотел было пересказать Павлу Степановичу читанное в журнальной статье. Лавроувенчаный модельер первейшим примером вымерших в двадцатом столетии и совершенно бесполезных деталей мужского костюма приводил хлястик. А тут фронт белокостюмный, денди среднекисловский, и при нем хлястик! Но Каморзину-то столь ли существенен был теперь хлястик? Да что и ему, Андрею Соломатину, мелочи мужских костюмов?

– Ну ты, доктор, нынче и углубился! – то ли удивление было выказано Каморзиным, то ли его недовольство напарником. При этом – вдруг и на «ты». – Любишь помалкивать, ну и давал бы говорить старшему. Нам ведь в руки текло, а ты – в забияки и задиры! Басню читал? Кто там забиякой-то хотел стать?

– Угодать моя натура противится! – резко сказал Соломатин.

– Однако от благодарных рублей ты не отказывался.

– Из рук нормальных людей и за нормально произведенную работу.

– В досаде ты, Андрюша, – вздохнул Каморзин. – И досаду свою захотел выплеснуть. Вот выгоды от нас и отпали. Да что выгоды! Этот пижон, знаю таких, уж точно, учинит пакость.

– Павел Степанович, пошли в Брюсов. Там вы дело изложите так, как вам хочется. К тому же и технику-смотрителю придется во всем удостовериться...

– Э-э, нет, – сказал Каморзин. – Ты у нас доктор, грамотей и писака...

Внизу дворник Макс напомнил им об обещанном исследовании подвала. Иные в стеснении бормочут, будто виноватаясь, Макс же, стесняясь, что позже подтвердилось для Соломатина, матерился и рычал, словно желая привести в трепет способных ему навредить негодяев. Сейчас его матерные комплименты отлетали в сторону мэрии и чинов, управляющих дворниками. Стеснения же Макса происходили от того, что он должен был при людях проверить кое-какие свои вещицы, их сухость и сохранность. Что это за вещицы, возможно, приготовленные для устройства кумысно-колбасной фермы под Сергачом, Соломатин так и не узнал. Позже ему лишь открылось, что Макс у себя во дворе, за Тверской, вещицы не хранил, свои же подлецы, столешниковские и никитские, татары и прочие, все бы уворовали. Или же земли тут опять бы разверзлись и добро ухнуло б в провал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.